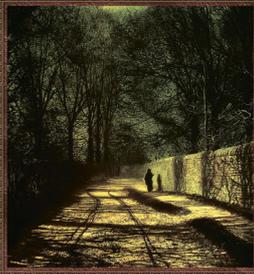


ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Тайна Эдвина Друда

# Чарльз Диккенс

## Тайна Эдвина Друда

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=9064895](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9064895)*  
*Тайна Эдвина Друда / Чарльз Диккенс: Клуб Семейного Досуга; Харьков; 2012*  
*ISBN 978-966-14-3279-5*

### **Аннотация**

«Башня древнего английского собора! Как может быть здесь башня древнего английского собора? Знакомая, массивная, серая, четырехугольная башня старого собора! Откуда она здесь взялась? И какая-то ржавая железная игла – прямо перед башней... Но на самом деле ее нет! С какой стороны ни взглянешь, не видно ржавой железной иглы. Что же это за игла, стоящая теперь между глазом зрителя и башней, и кто ее здесь поставил? Может быть, это просто обычный кол, водруженный по приказанию султана для того, чтобы посадить на него, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Должно быть, так и есть: вот бьют в бубны, гремят цимбалы – и султан во главе длинного торжественного шествия выходит из дворца. Десять тысяч секир блестят при солнечном свете, и тридцать тысяч танцовщиц устилают землю цветами. Потом следуют белые слоны, огромные, в пополах, разукрашенных всеми цветами радуги; им нет числа, как и окружающим их придворным – слугам и провожатым. Все же башня древнего английского собора возвышается где-то на заднем плане, где ее быть никак не может, и на страшном колу не видно никакого жуткого, извивающегося в муках тела. Погодите! Неужели эта игла – всего-навсего самый обыкновенный предмет: заржавленное остроконечье одного из столбиков старой, развалившейся кровати?» Полусонный смех раздается сквозь эти догадки и размышления...»

## Содержание

Факты, даты, цитаты	5
Глава I	20
Глава II	23
Глава III	31
Глава IV	39
Глава V	46
Глава VI	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# Чарльз Диккенс

## Тайна Эдвина Дрода

«The Mystery of Edwin Drood» by Charles John Huffam Dickens

Вступительные материалы *Р. Трифонова* и *Е. Якименко*

В оформлении обложки использована картина Джона Аткинсона Гримшоу «Tree Shadows on the Park Wall, Roundhay Park, Leeds»

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2012

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2012

## ФАКТЫ, ДАТЫ, ЦИТАТЫ

### Современники и потомки о личности и творчестве Чарльза Диккенса

**Ральф Уолдо Эмерсон** (1803–1882), *американский эссеист, поэт и философ*

Этот гений слишком талантлив. Его талант как чудовищная машина, к которой он так крепко привязан, что не может ни освободиться, ни отдохнуть от нее.

**Эдвард Фицджеральд** (1809–1883), *английский поэт*

Я боготворю Диккенса и хочу видеть его Гэдсхилл [*имение Диккенса*] не меньше, чем шекспировский Стратфорд или дом Вальтера Скотта в Абботсфорде.

**Томас Троллоп** (1810–1892), *английский писатель, друг Диккенса*

Не в моих силах дать тем, кто никогда не видел Диккенса, хоть малейшее представление о его обаянии. Оно, конечно же, было следствием его гениальности. Ведь Диккенс мог быть еще одним великим писателем, но не согреть окружающую его атмосферу, как солнце. А он излучал тепло. Смех его кипел радостью жизни, но в нем слышался какой-то протест, словно, рассказывая о чем-то смешном или внимая чему-то особенно нелепому, Диккенс говорил: «Честное слово, это уж слишком смешно! Это переходит все границы», – и вновь разражался хохотом, словно комический смысл услышанного захлестывал его с головой. Этот смех неодолимо завладевал всеми присутствующими. Энтузиазм его был всеислен. Он проникал во все его слова и поступки, настолько велика была его творческая сила, богатство мысли и чувства – характерные черты его гения.

**Иван Александрович Гончаров** (1812–1891), *русский писатель*

Не один наблюдательный ум, а фантазия, юмор, поэзия, любовь, которой он, по его выражению, «носил целый океан» в себе, – помогли ему написать всю Англию в живых бессмертных типах и сценах.

**Иван Сергеевич Тургенев** (1818–1883), *русский писатель*

[Диккенс] превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его – драматическое, почти театральное: в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать...

**Федор Михайлович Достоевский** (1821–1881), *русский писатель*

...Мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как англичане, даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс.

**Диккенс и Уильям Уилки Коллинз** (1824–1889), *английский писатель, друг Диккенса*  
(по книге Х. Пирсона «Диккенс»)

Многие привычки и особенности Коллинза так резко отличались от диккенсовских, что только диву даешься, как это им удавалось ладить друг с другом. ... Вот несколько примеров: Диккенс был помешан на пунктуальности; Коллинз никогда не смотрел на часы. Диккенс был чрезвычайно опрятен; Коллинз – неряшлив. Диккенс был щедр и безрассуден; Коллинз – скуповат и благоразумен. Диккенс был необыкновенно энергичен и горяч; Коллинз

– невероятно ленив и скептичен. Для Диккенса праздность заключалась в том, чтобы заниматься каким-нибудь ненужным делом. Он отдыхал активно; Коллинз – пассивно. «Вы все превращаете в работу, – говорил Коллинз. – По-моему, тот, кто ничем не может заниматься, вполсилы, – страшный человек». ... Даже в вопросе о туалетах у них были разные вкусы. «Что мне делать с этой штукой?» – спросил кто-то Коллинза, показывая яркий шелковый лоскут. «Пошлите Диккенсу, – отозвался тот. – Он сошьет себе жилет».

**Чарльз Диккенс-младший (1837–1896), сын Чарльза Диккенса**

Когда отец писал очередную толстую книгу и с головой уходил в разработку сюжета, то проживал в это время две жизни. Одну – среди нас, своих домашних, другую – в окружении им же выдуманных персонажей. Более того, я уверен, что временами создания его фантазии были для него более реальными, чем мы, живые. Часто я слышал от отца, что он не может заставить своих персонажей действовать по его воле, что они ведут себя, как считают нужным. Я очень хорошо помню, как отец рассказывал, будто его герои толпятся вокруг его письменного стола. Так бывало в те летние утренние часы, когда он, против обыкновения, рано садился за работу. И каждое из его созданий требовало постоянного внимания только к себе одному. В эти дни персонажи не оставляли его в покое даже на прогулке. И все мы понимали, что означает его молчание. Отец не просто прерывал разговор – он с головой уходил в свои мысли. Ему никто не мешал. Многие мили прошагал я рядом с молчащим отцом. Он шел быстро, смотрел прямо перед собой, губы его едва заметно шевелились, как шевелились они лишь тогда, когда он размышлял или писал. Отец не замечал того, кто шел рядом, и обгонял спутника. Когда же он наконец находил решение, то вновь приравнивал свои шаги к шагам идущего с ним рядом и возобновлял разговор, будто долгой паузы не было вовсе.

**Мэри Диккенс (1838–1896), дочь Чарльза Диккенса**

Папа предпочитал работать в одиночестве, но отблески приключений его героев мы наблюдали на его лице в течение всего дня. В часы, когда он работал, тишина соблюдалась неукоснительно, малейший звук роковым образом сказывался на работе. Хотя, как это ни странно, в эти часы шум и суета большого города были, кажется, ему необходимы...

**Александра Никитична Анненская (1840–1915), педагог и детская писательница**

Две основные черты характеризуют все произведения Диккенса и обуславливают их громадную популярность. Это, во-первых, его юмор – неподражаемый, добродушный юмор, с которым он подходит ко всем явлениям в жизни. Юмор этот в редких случаях переходит в сатиру на общие государственные или общественные учреждения, но гораздо чаще останавливается на изображении отдельных личностей или отдельных пороков, наиболее распространенных в английском обществе. ...

Вторая черта, отличающая произведения Диккенса, – это глубокая гуманность, можно сказать нежность, с какой он относится ко всему слабому, малому, обиженному судьбой или людьми.

\* \* \*

В Диккенсе странным образом соединялась любовь к семейной жизни, к родному дому, к тесному кружку близких друзей со страстью к путешествиям, к перемене мест. Как только материальные средства его улучшились настолько, что он мог устраивать жизнь по своему вкусу, он стал каждый год предпринимать небольшие поездки по различным местам Англии.

**Генри Джеймс** (1843–1916), *американский писатель*

Каким бы ни был диккенсовский отпечаток на мягкой глине нашего поколения, глубина его такова, что он спокойно сносил налеты волн времени.

**Джон Голсуорси** (1867–1933), *английский прозаик и драматург*

Диккенс – писатель чрезвычайно безыскусственный и потому всегда отдавался на волю своего таланта; замечательный мастер веселых нелепостей и превосходный, необычайной силы стилист. Он был прирожденным рассказчиком и удивительно тонко понимал человеческую натуру и человеческие характеры; в этом великом художнике было какое-то озорство, как у школьника на рождественских каникулах.

\* \* \*

Для меня Диккенс, бесспорно, величайший романист Англии и величайший в истории романа пример торжества подлинного, буйного таланта. Силою природного воображения и художественной выразительности он запечатлел в памяти людей такие яркие и разнообразные представления о человеческой природе, каких не встретишь ни у кого из западных романистов.

**Максим Горький** (1868–1936), *русский писатель*

Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь, этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.

**Гилберт Кит Честертон** (1874–1936), *английский мыслитель, журналист и писатель*

Диккенс – «как жизнь» в самом точном смысле слова; он сродни тому, что правит жизнью человека и мира; он – как жизнь хотя бы потому, что он живой. Книги его – как жизнь, потому что, как и жизнь, они считаются только с собой и весело идут своим путем. ... Не то искусство похоже на жизнь, которое ее копирует, – ведь сама она не копирует ничего. Искусство Диккенса как жизнь, потому что, как и жизнь, оно безответственно и невероятно.

\* \* \*

В его описаниях есть детали – окно, перила, замочная скважина, – которые наделены какой-то бесовской жизнью. Они реальней, чем здесь, наяву. Такого реализма нет в реальности, это – невыносимый реализм сна. Научиться ему можно не наблюдая, а мечтательно бродя. ... Этот сказочный реализм Диккенс находил повсюду. Мир его кишит живыми предметами.

\* \* \*

Не часто ребенок вступает из жизни в школу, а не из школы в жизнь. Можно сказать, что у Диккенса юность предшествовала детству. Он видел жизнь во всей ее грубости прежде, чем стал к ней готовиться, и, быть может, знал худшие английские слова раньше, чем узнал лучшие.

\* \* \*

Мы противопоставляем слабого сильному; Диккенс же был не только силен и слаб – он был очень слаб и очень силен. В нем было все, что мы зовем слабостью: он был раним; он мог в любую минуту расплакаться, как дитя; он так близко принимал к сердцу критику, словно его резали по живому; он был так впечатлителен, что истинные трагедии его жизни рождались из нервных срывов. Но в том, в чем сильные люди ничтожно слабы – в сосредоточенности, в ясности цели, в несокрушимой житейской храбрости – он был как меч. Миссис Карлейль [*Джейн Карлейль, жена писателя Томаса Карлейля*], умевшая на удивление точно определить человека, сказала как-то: «У него стальное лицо». Быть может, она просто увидела в многолюдной комнате, как чистый, четкий профиль Диккенса рассекает толпу, словно меч. Все, кто встречал его, год за годом, замечали, что он страшится близкого заката; и каждый год они замечали, что он восходит все выше. Уравновешенному, ровному человеку трудно понять его; такого, как он, каждый может ранить и никто не может убить.

**Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965), английский писатель**

Энергия его казалась неистощимой. Мало того, что он выпускал один за другим длинные романы, он еще основывал и редактировал журналы, а однажды, недолгое время, и ежедневную газету, писал множество вещей «к случаю», читал лекции, выступал на банкетах, а позже – устраивал публичные чтения своих произведений. Он ездил верхом, делал пешком по двадцать миль в день, обожал танцевать и валять дурака, показывал детям фокусы, участвовал в любительских спектаклях.

**Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), русский советский писатель, публицист, общественный и политический деятель**

Чарльз Диккенс! Каскад блестящих картин и типов, раскаты здорового, доброго смеха, неисчерпаемая выдумка, чародейство несравненного рассказчика, вспышки поэзии, порою взрывы благородного пафоса.

**Стефан Цвейг (1881–1942), австрийский писатель, критик**

Его великая и незабываемая заслуга состоит, собственно, в том, что он нашел романтику в обыденности, открыл поэзию прозы. Он первый опоэтизировал будни самой непоэтической из наций. Он заставил солнце пробиться сквозь эту беспросветную серую мглу, а кто хоть однажды видел, какой лучезарный блеск льет солнце, разгорающееся в пасмурном клубке английского тумана, тот знает, как должен был осчастливить свой народ писатель, который претворил в искусство этот миг избавления от свинцовых сумерек. Диккенс – это золотой свет, озаряющий английские будни, ореол вокруг скромных дел и простых людей, это английская идиллия.

**Вирджиния Вулф (1882–1941), британская писательница, литературный критик**

Отличительная черта Диккенса как создателя характеров заключается в том, что он создает их, куда ни бросит взгляд, у него удивительная способность визуального изображения. Его персонажи запоминаются нам навсегда, прежде чем они сказали хоть слово, – запоминаются теми черточками поведения, которые он подметил; кажется, что именно зрение приводит в движение творческую мысль Диккенса.

**Франц Кафка (1883–1924), австрийский писатель**

*20 августа.* Читал о Диккенсе. Это так трудно – да и может ли сторонний человек понять, что какую-нибудь историю переживаешь с самого ее начала, от отдаленнейшего пункта до встречи с наезжающим локомотивом из стали, угля и пара, но и в этот момент не уходишь от нее, а хочешь и находишь время, чтобы она гнала тебя и ты по собственному порыву мчишься впереди нее туда, куда она толкает и куда ты сам влечешь ее (*Из дневника*).

**Хескет Пирсон** (1887–1964), *английский писатель, автор биографии Чарльза Диккенса*

Главное же, чем отличается наш герой, это его юмор. Вот почему Диккенс живет и в наши дни, вот чем должна дышать каждая фраза книги о нем. Как в творчестве, так и в жизни самой пленительной его чертой была веселость. Те, кто видел его хоть раз, могли потом забыть его внешность, его манеру держаться, но его смех – никогда! В основе комического дарования Диккенса лежит его сверхъестественная наблюдательность: он видел все и почти во всем подмечал что-нибудь смешное.

**Чарльз Спенсер «Чарли» Чаплин** (1889–1977), *американский и английский киноактер, сценарист, композитор и режиссер*

...Будь Диккенс жив сегодня, он был бы критиком современной эпохи, он был бы критиком нашей западной демократии, ... он осудил бы ученых, которые не чувствуют моральной ответственности, передавая атомную бомбу в руки военщины. Его литературный труд много прибавил величию английской литературы и величию самой Англии.

**Джордж Оруэлл** (1903–1950), *английский писатель и публицист*

Когда читаешь любую прозу, отмеченную яркой индивидуальностью стиля, ловишь себя на ощущении, будто за строчками, за страницами проступает лицо. Не обязательно «натуральное» лицо писателя. ... Со страниц проступает лицо, которое, полагаем мы, следует иметь автору. Так вот, читая Диккенса, я вижу лицо, не совсем схожее с фотографическими изображениями, хотя и напоминающее их. Лицо человека лет сорока. Небольшая бородка. Стоячий воротничок. Человек смеется. В смехе различима нотка гнева, но никакого торжества, никакого злорадства. Передо мной лицо человека, который вечно с чем-то сражается, сражается открыто, и его не запугать, лицо человека, который *щедро гневен*, – иными словами, лицо либерала девятнадцатого столетия, свободного интеллектуала.

## Яркие эпизоды биографии писателя

**Из воспоминаний Чарльза Диккенса**

*(Один из самых известных фактов биографии Диккенса – то, что в 1822 году его отец был посажен в тюрьму, а Чарльз был вынужден работать на фабрике ваксы. Этот эпизод – из воспоминаний писателя о том тяжелом периоде своей жизни.)*

Я был такой маленький, такой еще ребенок, у меня было так мало предусмотрительности (вспомните, что мне едва минуло одиннадцать лет), что когда я утром отправлялся на фабрику, то, глядя на пирожки, выставленные в окнах кондитерских, не мог противостоять искушению и часто оставлял там деньги, которые должен был сохранить на обед. Я обходился тогда без него... или покупал хлебец и кусочек пудинга. Нам давали полчаса на полдник, и когда я бывал богат, то входил в маленькое кафе и проглатывал чашку кофе, съедая при этом кусок хлеба с маслом. Когда же карманы мои были пусты, я расхаживал по Ковентгарденскому рынку, созерцая ананасы. Есть там кафе, куда я ходил часто и которое всегда буду помнить. Над входной дверью, на большом овальном матовом стекле, выделя-

лась надпись: *Coffee-Room*. И теперь еще, если, обедая в ресторане, я со своего места увижу над входом эти два слова навыворот «*moor-effoC*», дрожь пробегает по моему телу.

#### **По книге Г. К. Честертона «Чарльз Диккенс»**

Однажды его отца спросили, где воспитывался Чарльз. «Как бы вам сказать, – со свойственной ему раздумчивостью отвечал толстяк. – Он, в сущности... гм-гм... Он сам себя воспитал». Так оно и было.

#### **По книге А. Н. Плещеева «Жизнь Диккенса»**

Чарльзу было два года, когда служебные обязанности вызвали его отца в Лондон; но у него сохранились некоторые очень живые воспоминания о жизни в Портсмуте. Он любил описывать палисадник, находившийся перед их домом. ... Он помнил также, как его водили однажды смотреть на парад, и двадцать пять лет спустя узнал плац, на котором происходил этот парад. Он помнил, наконец, что семья покинула Портсмут во время снежной метели. А между тем ему было тогда не больше двух лет.

\* \* \*

Скажем также несколько слов о собаках Диккенса, которых он ужасно любил. Наибольшими фаворитами его были Тюрк и Линда, два сенбернара, самец и самка. Они сопровождали своего господина во всех его прогулках. Еще была у него маленькая белая собачка померанской породы, принадлежавшая его младшей дочери. Список его любимцев был бы не полон, если бы мы не включили в него знаменитого кота, глухого и «безымянного», которого прислуга почтительно называла «господским котом». Это таинственное животное никогда не покидало Диккенса. Кот лежал около него, ел вместе с ним, спал у его ног, в то время как он писал. Однажды вечером, когда невестка и дочери Диккенса уехали куда-то по соседству на бал и он, оставшись один в квартире, читал у маленького столика, при свете стоящей на нем свечи, огонь вдруг погас. Увлеченный своим чтением, он поспешил снова зажечь свечу и, зажигая ее, заметил, что кот смотрел на него с весьма патетическим выражением. Он продолжал читать. Несколько минут спустя огонь снова стал гаснуть, он поднял глаза и увидел кота с поднятой передней лапой, которой он собирался потушить свечку. Потом странное животное опять принялось смотреть на своего господина умоляющим взглядом. Диккенс понял этот немой призыв: он отложил книгу в сторону, и, пока не настало время лечь спать, все играл с животным.

#### **Из речи А. И. Кирпичникова «Диккенс как педагог»**

Он чрезвычайно любил детей, сперва чужих, потом своих. Достаточно, я думаю, указать на один случай, приводимый его биографом: дочери Диккенса пожелали выучить отца к празднику танцевать польку; Диккенс охотно покорился их капризу; целую неделю он ломал себе ноги. А накануне праздника вдруг пришла ему ужасная мысль: ну как он все же осядет перед гостями и тем огорчит дочерей. Он вскочил с постели и тут же в спальне произвел себе экзамен; к счастью, он сошел удовлетворительно, и Диккенс заснул спокойно. На вечеру Диккенс превзошел самих юных танцоров и привел тем дочерей в восторг.

#### **По книге А. Н. Анненской «Чарльз Диккенс»**

В начале 1840 года, во время бракосочетания королевы Виктории, он поверг в величайшее недоумение одного из своих друзей, сообщив ему письмом, что безнадежно влюблен в королеву. ... Фантазия представляться влюбленным в королеву продолжалась у Диккенса целый месяц. Он и его два друга, Форстер и Меклиз, раздували эту фантазию до чудовищных

размеров, строили на основании ее самые нелепые планы и приводили в полное недоумение присутствовавших, не посвященных в дело и не знавших – принимать ее в шутку или всерьез, тем более что сам Диккенс с неподражаемым искусством изображал влюбленного, доведенного несчастной страстью до полного отчаяния.

\* \* \*

(1857 г.) Королева Виктория пожелала увидеть на сцене автора, с произведениями которого была хорошо знакома, и просила его устроить одну из генеральных репетиций в Букингемском дворце. Диккенс отвечал почтительным письмом, в котором заявил, что считает несовместимым с достоинством писателя ходить забавлять даже коронованных особ, и просил ее величество почтить своим присутствием одно из представлений в его собственном доме. Королева согласилась, приехала вместе с наследным принцем, осталась очень довольна спектаклем и по окончании его пожелала, чтобы Диккенс представился ей. Но и эту честь романисту пришлось отклонить. «Я просил передать, – пишет он, – что, надеюсь, королева простит мне, но что я считал бы достоинство писателя униженным, если бы явился к ней в костюме скомороха». Ее величество не настаивала более. Свидание романиста с королевой состоялось гораздо позже, уже в 1870 году, после его вторичного посещения Америки. Диккенс привез фотографические снимки с полей битв, происходивших во время войны за освобождение, и королева пожелала, чтобы он сам показал их ей. Она очень долго и дружелюбно разговаривала с ним и в заключение подарила ему экземпляр своего «Шотландского дневника», сказав, что это приношение самого скромного одному из самых великих современных писателей.

#### **По книге Х. Пирсона «Диккенс»**

Джейн Карлейль рассказывает об одном безудержно веселом празднике, душою и заводилой которого был не кто иной, как Диккенс. Он заранее купил себе полный набор «магических» предметов, необходимых фокуснику, и у себя в комнате, один, каждый вечер учился проделывать таинственные и загадочные вещи. Он заставлял карманные часы исчезать и вновь появляться неведомо откуда совсем в другом месте. По его велению деньги из правого кармана вдруг оказывались в левом. Он сжигал носовые платки, дотрагивался до золы волшебной палочкой – и платки были снова целехоньки. Он мог превратить ящик с отрубями в живую морскую свинку, насыпать в мужскую шляпу муки, добавить сырых яиц и еще кое-каких специй, подержать все это на большом огне и затем извлечь из шляпы горячий, дымящийся пудинг с изюмом, а шляпу вернуть владельцу целой и невредимой.

\* \* \*

Его неистощимое веселье было так заразительно, что когда его друзья приглашали к себе гостей, а он был занят, то друзья просили его зайти хотя бы ненадолго, только чтобы приготовить пунш или нарезать жареного гуся. Приготовление пунша было для него настоящим ритуалом, сопровождавшимся серьезными и шуточными замечаниями о составе смеси и действии, которое она произведет на того или иного гостя. Диккенс посвящал этому напитку спичи, составленные по всем правилам ораторского искусства, и, объявив, что пунш готов, разливал его по бокалам с видом фокусника, извлекающего диковинные предметы из своей шляпы.

\* \* \*

«Ручаюсь, что я точен, как часы на здании Главного штаба», – хвастался Диккенс. Он являлся на свидания минута в минуту, а к столу в его доме садились вместе с первым ударом часов. Мебель в комнатах была расставлена так, как он того желал; место каждого стула, дивана, стола, каждой безделушки было определено с точностью до квадратного дюйма. ... Стоило ему приехать в меблированный дом или гостиницу, как он все переставлял по своему, даже гардероб и кровать. «Все, разумеется, в полном порядке, – писал он на борту корабля. – Мои бритвенные принадлежности, несесер, щетки, книги и бумаги разложены с такой же аккуратностью, как если бы мы собрались прожить здесь месяц». Накануне возвращения из Америки его занимали «мысли о том, в порядке ли мои книги, где стоят столы, стулья и прочая обстановка».

\* \* \*

Диккенс разъезжал со своими чтениями по всей Англии, Шотландии и Ирландии, начиная с 1858 и кончая 1870 годом. ... Тысячи и тысячи людей съезжались на его чтения в большие города и не могли попасть на концерты из-за нехватки мест. Его встречали громом оваций, на которые он не обращал ни малейшего внимания, и часто, когда чтение было окончено и Диккенс успевал уже переодеться и уехать домой, публика, стоя на ногах, все еще продолжала аплодировать.

\* \* \*

Говорят, что если актер не нервничает, он не может подняться до самых высот своего искусства. Диккенс был исключением из этого правила. В роли исполнителя-актера, оратора, чтеца он отличался необыкновенным самообладанием (в роли творца, как мы знаем, дело обстояло несколько иначе) и в совершенстве владел своими нервами. Это самообладание и власть над аудиторией не раз подтверждались на практике. Так, во время представления ... в Лондоне загорелся занавес, и зрители ринулись к единственному выходу. Диккенс, который был в этот момент занят на сцене, подошел к рампе и сказал повелительным тоном: «Все по местам!» Пятьсот светских дам и джентльменов, испугавшись его голоса сильнее, чем огня, немедленно подчинились, а он, отдав необходимые распоряжения, продолжал играть.

\* \* \*

В тот момент, когда он выходил на сцену – прямой и сдержанный, с цветком в петлице и перчатками в руке, выставив по обыкновению правое плечо вперед, раздавался такой восторженный рев, что нельзя было понять, как он может оставаться спокойным. Его встречали с такой огромной и искренней радостью, что даже он иногда чувствовал себя растроганным, но никогда не показывал этого, делая вид, что все это его не касается.

\* \* \*

Летом 1867 года он слег .... Пошли слухи о том, что здоровье его сдает, и это была сушая правда, хотя он настойчиво не желал признать ее.

«Его здоровье находится в критическом состоянии», – писала одна газета. «Это опечатка – в крикетическом!» – поправил он.

\* \* \*

Он не любил, когда дети старшего сына называли его «дедушкой», и поладил с ними на титуле «Достопочтенный». В распоряжение внуков был отдан весь дом, но кабинет хозяина оставался святыней, и когда одна гостя решила познакомиться с библиотекой Диккенса, кто-то из внучат, пробегая мимо, послал ей тревожное предостережение: «Эй, берегитесь, мисс Бойль! Если Достопочтенный узнает, что вы роетесь в его книгах, вам влетит по первое число!»

## Роман «Тайна Эдвина Друда»

**Генри Уодсворт Лонгфелло** (1807–1882), *американский поэт*  
Без сомнения, одна из лучших его книг, если не самая лучшая.

**Кейт Перуджини Диккенс** (1839–1870), *дочь Чарльза Диккенса*

То, что во время работы над «Эдвином Друдом» ум моего отца был ясен и светел, ни у кого из нас, его домашних, не вызывает сомнения. И тот огромный интерес, который он испытывал к этой своей работе, проявлялся во всем, что бы он ни говорил, ни делал. Но интерес этот был предметом беспокойства тех, кто видел, как он работает. Считали, что отец слишком неэкономно расходует свои силы. ... Любые попытки остановить его кипучую деятельность были сродни попыткам остановить реку.

**Гилберт Кит Честертон**

В своей последней книге Диккенс еще раз попытался уйти от хаотичной раскованности ранних книг. Он не только стремится лучше выстроить сюжет – он все строит на сюжете. Он не только хорошо ведет интригу – в интриге вся суть романа. «Тайна Эдвина Друда» (1870) – самая честлюбивая из его книг. Всем известно, что это детектив, и очень хороший, иначе он не вызвал бы таких споров. Даже если бы Диккенс его окончил, роман занял бы особенное место ... «Эдвин Друд» не окончен, Диккенс умер, не дописав его.

Диккенс оставил после себя фрагмент, почти не поддающийся разгадке, – часть «Эдвина Друда». ... Диккенс не только не утерял мастерства – он его приумножил. Но, перелистывая эти темные страницы, мы снова задумываемся о том, о чем нередко думают искренние его поклонники. Лучше или хуже он стал, овладев техникой реализма? Поздние его герои больше похожи на людей, но ранние, возможно, больше похожи на богов. Он умеет написать правдоподобную сцену, но тот ли это Диккенс, который умел описывать небывалое? Где молодой гений, творивший майоров и злоумышленников, каких не создать природе? ... Много на свете хороших писателей, но Диккенс – один, и что же с ним стало?

Он остался живым до конца. В неразгаданной последней книге он появляется вдруг во всем великолепии, как фокусник, прощающийся с миром. В самую сердцевину разумной и невеселой повести о добром священнике и тихих башнях Клойстергема Диккенс спокойно вставил эпизод редкой прелести и исключительной нелепости. Я имею в виду комичную и невероятную эпитафию миссис Сапси, где покойница названа «почтительной женой», а муж ее, Томас, сообщает, что она «взирала на него с благоговением», и кончает словами, столь великолепно запечатленными на камне: «Прохожий, остановись! И спроси себя, можешь ли ты сделать так же? Если нет, краснея, удались». ... Ни на одном кладбище нет столь бесценного надгробия; его и не может быть в мире, где есть кладбища. Такого бессмертного

безумия нет в мире, где есть смерть. Мистер Сапси – одна из радостей, ожидающих нас на том свете.

Да, было много Диккенсов – умный Диккенс, трудолюбивый Диккенс, Диккенс гражданственный, – но здесь явил себя Диккенс великий. Последний взлет невероятного юмора напоминает нам, в чем его сила и слава. Похвала этой блаженной нелепости пусть будет последней похвалой ему, последним словом признания. Ни с чем не сообразная эпитафия миссис Сапси станет торжественной эпитафией Диккенсу.

**Джон Каминг Уолтерс** (президент Диккенсовского общества в 1910–1911 гг.)

«Эдвин Друд» – это только торс статуи, и, созерцая этот незаконченный шедевр, мы понимаем, как искусна была рука, которая его изваяла, как силен был интеллект, который его замыслил, и как прекрасны были бы пропорции этого творения, если бы автор успел его завершить.

**Николай Николаевич Асеев** (1889–1963), *русский советский поэт*

## Тайна Эдвина Друда

Вам хотелось бы знать  
тайну Эдвина Друда?  
Это Диккенса  
самый последний роман.  
Он его не окончил.  
Осыпалась груды,  
и молочной стеной  
опустился туман.  
Вы мне станете петь  
про нелепость,  
про дикость  
всяких тайн,  
от которых и пепел остыл.  
А ко мне приходил  
в сновидениях Диккенс  
и конец,  
унесенный с собою,  
открыл.  
Что случилось действительно  
в Клойтергэме,  
в этом  
автором выдуманном  
городке?  
Кто распутает узел,  
затянутый в теме,  
лед могильного камня  
согреет в руке?  
Было так:  
двое юношей вышли к потоку,  
и один не вернулся...  
Другой обвинен.  
И осталось разгадывать тайну потомку  
этих давних,  
дождями залитых времен.

(1958)

**Тамара Исаковна Сильман** (1909–1974), *литературовед*

Читателю, увлекшемуся «Тайной Эдвина Друда», дано особенно остро почувствовать утрату великого писателя. Ибо, дочитав до того места, где он обрывается, читатель оказывается в роли султана, которого обманула прекрасная Шехерезада, оборвавшая нить своего повествования на самом страшном и интересном месте и не возвратившаяся ни в одну из последующих ночей.

Неоконченный детективный роман – это не просто неоконченный роман. Сюжет здесь не только не получает своего логического завершения, но лишен сердцевины, существа –

разгадки. В то же время «Тайна Эдвина Друда» – одно из самых замечательных произведений Диккенса по глубине психологического рисунка.

### **Попытки разгадать тайну**

#### **По книге Т. Сильман «Диккенс»**

Как во всех произведениях подобного рода, читатель призван к напряженной работе ума, происходящей параллельно с развивающимися событиями. И когда произведение внезапно обрывается и работа насильственно прервана, то наличие собственного читательского решения проблемы почти что неизбежно.

Может быть, этим обстоятельством объясняется такое большое число появившихся «продолжений» «Тайны Эдвина Друда».

Ряд высказанных предположений сводится к тому, что Эдвин Друд на самом деле не был убит своим дядей, что ему, замукованному в склепе согласно первоначальному злодейскому замыслу, все же удалось спастись и что переодетый стариком неизвестный человек по имени Датчери и есть спасшийся герой, явившийся на место преступления, чтобы раскрыть тайну своего «убийства» и обнаружить преступника.

#### **По книге М. П. Тугушевой «Чарльз Диккенс»**

Американский ученый Проктор пришел к неожиданному выводу: Дзэчери – не кто иной, как сам Эдвин Друд, чудом спасшийся от гибели и теперь преследующий Джаспера, чтобы предать его суду ... Но спрашивается: зачем же Эдвину Друду собирать улики, когда он и так уже знает, что его дядя негодяй? Против вывода Проктора свидетельствует и сообщение Чарльза Диккенса-младшего. Однажды, гуляя с отцом, он спросил, действительно ли убит Эдвин Друд. И тот ответил: «Конечно! А ты что думал?»

\* \* \*

Художник Чарльз Ольстон Коллинз, брат Уилки Коллинза и муж младшей дочери Диккенса Кейт, сделал еще при жизни писателя рисунки к роману (Диккенс, наверное, их видел). Один из рисунков изображает важную сцену: Джаспер с фонарем входит в темное помещение, очевидно, подземелье, и видит спокойно ожидающего человека. Лицо незнакомца молодо. Одну руку он поднес к груди, словно собирается что-то вынуть из кармана сюртука. Но что? Оружие? А может быть, кольцо? ... Уолтерс утверждает, что молодой человек ... – переодетая в мужское платье Елена. ... Это она, в гриме и мужском платье, выдает себя за Дзэчери.

#### **По книге Дж. К. Уолтерса «Ключи к роману Диккенса “Тайна Эдвина Друда”»**

...Издатели Диккенса всегда отвергали слишком поспешные умозаключения и никогда не давали своей санкции на сочинение каких-либо «окончаний» «Эдвина Друда» якобы в духе автора. В Америке, правда, вышла наглая книжонка с именами Уилки Коллинза и Чарльза Диккенса-младшего на титульном листе, но ее настоящие авторы впоследствии сознались в обмане.

В том же году, когда началась и преждевременно кончилась публикация «Эдвина Друда», в Нью-Йорке за подписью Орфеуса С. Керра вышла книга под заглавием «Раздвоенное копыто. Переложение английского романа “Тайна Эдвина Друда” на американские нравы и обычаи, обстановку и действующих лиц». В декабре 1870 года тот же автор поместил в ежегоднике «Пикадилли Эннуэл» статью «Тайна мистера Э. Друда». Более интересна книга «Тайна Джона Джаспера», вышедшая в Филадельфии в 1871 году, размером почти

равная оригиналу и представлявшая собой попытку дополнить недостающие главы. Два годами позже, и тоже в Америке, появилось фантастическое произведение, будто бы продиктованное духом Диккенса на спиритическом сеансе, которое беззастенчиво именовалось «Вторая часть “Эдвина Друда”». В 1878 году одна манчестерская дама, писавшая под псевдонимом Джиллан Вэз, выпустила трехтомник под названием «Великая тайна разгадана. Продолжение романа “Тайна Эдвина Друда”». Реальная ценность и литературные качества этих трех томов обсуждались критикой – отзывы были неблагоприятные и даже уничтожающие.

\* \* \*

Клойстергэм – это, собственно, Рочестер, и в Рочестере случилось одно происшествие, которое, как полагают, и послужило Диккенсу материалом для этого романа. Эта история рассказана в книге У. Р. Хьюза «Неделя в диккенсовских местах».

Один тамошний житель, холостяк и человек со средствами, но небогатый, был опекуном и попечителем своего племянника, которому по достижении совершеннолетия предстояло вступить во владение огромным состоянием. Молодой человек уехал в Вест-Индию, потом неожиданно вернулся. После этого он исчез. Предполагали, что он снова отправился в путешествие. Дом его дяди находился на Главной улице и граничил с участком, принадлежавшим банку. Когда много лет спустя там производили земляные работы, был найден скелет молодого мужчины. По местному преданию, дядя убил своего племянника и закопал его тело. Вот зародыш «Тайны Эдвина Друда», и тайна тут не столько в самом преступлении, сколько в том, как оно было скрыто и как потом обнаружено.

\* \* \*

Люк Филдс, художник, избранный Диккенсом для иллюстрирования «Эдвина Друда», решительно отвергает версию Проктора. Он убежден ..., что, по замыслу Диккенса, Эдвин Друд должен был погибнуть от руки своего дяди; недаром в четырнадцатой главе появляется на шее Джаспера «длинный черный шарф из крепкого крученого шелка», – он-то, очевидно, и послужил орудием убийства. Такая заметная и неудобная в живописном отношении деталь не ускользнула от внимания художника, пристально изучавшего внешний облик действующих лиц, которых ему предстояло изображать, и когда Филдс сказал об этом Диккенсу, тот удивился и даже словно бы смутился, как человек, нечаянно выдавший свой секрет. Далее Филдс говорил, что Диккенс хотел взять его с собой в камеру осужденных в Мэйдстоне или какой-нибудь другой тюрьме для того, чтобы он мог сделать там зарисовки. «А из этого можно заключить, – сказал Филдс, – что Диккенс намеревался показать нам Джаспера в камере осужденных перед его казнью».

#### **По статье И. И. Смаржевской «Кто такой мистер Дэчери?»**

В своей статье Уолтерс убедительно доказывает, что Дэчери – это женщина. Причины тому следующие: Дик Дэчери носит большой парик, чтобы скрыть волосы женщины; он имеет привычку по-женски встряхивать волосами; ему присуща манера носить шляпу, надевая (что естественно при большом парике летом) и зажимая ее по-женски под мышкой; результаты расследования Дэчери записывает меловыми черточками разной длины (по способу, принятому в старинных трактирах), чтобы не быть узнанной по почерку (в ту эпоху мальчиков учили «круглому» шрифту, девочек – «заостренному» с росчерками).

Однако Уолтерс ошибается, определяя, кто эта женщина. Он подробно рассматривает поступки действующих лиц (всех, кроме Розы и мисс Твинклтон) и отводит роль Дэчери Елене – второстепенной героине, которая редко появляется на сцене.

\* \* \*

Методом исключения мы установили, что единственно возможная кандидатура на роль Дэчери – это Роза. Уолтерс игнорирует Розу – главное действующее лицо. Странно, что Роза выпала из поля его зрения: у невесты убили жениха – кому, как не ей, отомстить за него? У Диккенса нет ни одной случайной детали: все работает в его повествовании. Внимательно читая роман, мы найдем доказательство сходства Розы и Дэчери.

### **Суд над Джоном Джаспером**

В январе 1914 года Диккенсовское общество подвергло Джона Джаспера «суду». По словам Дона Ричарда Кокса, автора статьи «Бернард Шоу об “Эдвине Друде”», «посадив Джаспера на скамью подсудимых и заставив его и других героев давать показания в “настоящем” суде, литературоведы надеялись, что жюри сумеет разрешить загадку романа “законным” путем. Целые группы исследователей возмечтали о том, что их версии исчезновения Друда и доказательства того, кто такой Дэчери, найдут подтверждение в выводах суда. В мероприятии, задуманном как однодневная забава, кое-кто увидел возможность доказать свою правоту в литературном споре, не утихавшем на протяжении десятилетий».

Судьей был назначен Гилберт Кит Честертон, главой присяжных – Джордж Бернард Шоу. Последний сначала отказывался принять участие в процессе и относился к нему скептически, поскольку невысоко оценивал само произведение.

*(Из письма Б. Шоу в ответ на приглашение принять участие в суде (по статье Д. Кокса): «Если я войду в состав присяжных, это, надо думать, плохо скажется на процессе, ибо единственный приговор, который я способен вынести от чистого сердца, – оправдательный, по той причине, что если Джаспер не убивал Эдвина Друда, то он, само собой, не повинен в убийстве, а если все же убил, то нет и не может быть никакой вины на человеке, который убивает столь ужасного скучнягу, даже если и сам он скучняга немногим лучше убитого».)*

В результате Джон Джаспер был признан виновным в непреднамеренном убийстве. Судья закончил заседание такими словами: «Мое решение таково: все здесь присутствующие, кроме меня, приговорены к тюремному заключению за неуважение к суду. Отправляйтесь все в тюрьму без всякого разбирательства!»

В апреле того же года суд над Джоном Джаспером состоялся и в США.

## **Литература**

Анненская А. Н. Чарльз Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность. – СПб., 1892. – 79 с.

Голсуорси Дж. Силуэты шести писателей // Голсуорси Дж. Собрание сочинений: В 16 т. – Т. 16. – М.: Правда, 1962. – С. 394–411.

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1873 // <http://magister.msk.ru/library/dostoevs/dostdn01.htm>

Кирпичников А. И. Диккенс как педагог: Речь, читанная на акте Императорского Харьковского университета 17 января 1881 г. – Харьков, 1881. – 73 с.

Михальская Н. П. Чарльз Диккенс: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с.

Моэм У. С. Чарльз Диккенс и «Дэвид Коппервилд» // [http://www.gramotey.com/?open\\_file=1269006629](http://www.gramotey.com/?open_file=1269006629)

Нерсесова М. А. Творчество Чарльза Диккенса. – М.: Знание, 1957. – 32 с.

Оруэлл Дж. Чарльз Диккенс // Оруэлл Дж. Эссе. Статьи. Рецензии. – Пермь: КАПИК, 1992. – С. 85–134.

Пирсон Х. Диккенс. – М.: Молодая гвардия, 1963. – 512 с.

Плещеев А. Н. Жизнь Диккенса. – СПб., 1891. – 296 с.

Сильман Т. И. Диккенс: очерки творчества. – Ленинград: Худ. лит., 1970–376 с.

Тайна Чарльза Диккенса: Библиографические разыскания / Сост.: Е. Ю. Гениева, Б. М. Парчевская. – М.: Книжная палата, 1990. – 536 с.

Тугушева М. П. Чарльз Диккенс: очерк жизни и творчества. – М.: Дет. лит., 1979. – 208 с.

Уолтерс Дж. К. Ключи к роману Диккенса «тайна Эдвина Друда» // <http://virlib.ru/read/15/07166/61.html>

Урнов М. В. Неподражаемый. Чарльз Диккенс – издатель и редактор. – М.: Книга, 1990. – 286 с.

Цвейг С. Диккенс // Цвейг С. Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский; Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. – М.: Республика, 1992. – С. 36–61.

Цимбаева Е. Исторические ключи к литературным загадкам: «Тайна Эдвина Друда» // Вопросы литературы. – 2005. – № 3: <http://magazines.russ.ru/voplit/2005/3/ci16.html>

Чарльз Диккенс (1812–1870): Метод. материалы к вечеру, посвященному 100-летию со дня смерти. – М.: Всесоюз. гос. биб-ка иностр. лит., 1970. – 39 с.

Честертон Г. К. Чарльз Диккенс. – М.: Радуга, 1982. – 205 с.

Trial of John Jasper, lay preacher of Cloisterham Cathedral in the County of Kent, for the murder of Edwin Drood, engineer // <http://www.archive.org/details/trialofjohnjaspe00jasprich>

## Глава I На рассвете

«Башня древнего английского собора! Как может быть здесь башня древнего английского собора? Знакомая, массивная, серая, четырехугольная башня старого собора! Откуда она здесь взялась? И какая-то ржавая железная игла – прямо перед башней... Но на самом деле ее нет! С какой стороны ни взглянешь, не видно ржавой железной иглы. Что же это за игла, стоящая теперь между глазом зрителя и башней, и кто ее здесь поставил? Может быть, это просто обычный кол, водруженный по приказанию султана для того, чтобы посадить на него, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Должно быть, так и есть: вот бьют в бубны, гремят цимбалы – и султан во главе длинного торжественного шествия выходит из дворца. Десять тысяч секир блестят при солнечном свете, и тридцать тысяч танцовщиц устилают землю цветами. Потом следуют белые слоны, огромные, в пополах, разукрашенных всеми цветами радуги; им нет числа, как и окружающим их придворным – слугам и провожатым. Все же башня древнего английского собора возвышается где-то на заднем плане, где ее быть никак не может, и на страшном колу не видно никакого жуткого, извивающегося в муках тела. Погодите! Неужели эта игла – всего-навсего самый обыкновенный предмет: заржавленное остроконечье одного из столбиков старой, развалившейся кровати?» Полусонный смех раздается сквозь эти догадки и размышления.

Человек, в рассеянном, медленно восстанавливаемом сознании которого переплелись такие фантастические видения, будто выплывает из их хаоса, приподнимается, дрожа всем телом, и оглядывается вокруг себя. Он находится в дрянной и душной жалкой маленькой комнатушке с нищенской обстановкой. Сквозь ветхую, дырявую занавесь окна проникает свет раннего утра, мерцающий над грязным захудалым двориком. Он одетым лежит поперек на большой, уродливой, осевшей под тяжестью кровати. На этой же кровати, также одетые, поперек лежат матрос с китайского корабля, ласкар (матрос-индус) и худая испитая женщина. Первые двое спят – а может, это не сон, а какое-то оцепенение – или находятся в забытии; женщина раздувает нечто вроде маленькой, странного вида трубки, очевидно, пытаясь ее раскурить. Раздуваемый ею и полуприкрытый ее исхудалой рукой уголек освещает, будто крошечная лампа, эту несчастную фигуру в окружающем полумраке, и становится видно ее лицо.

– Другую? – спрашивает женщина глухим, жалобным шепотом. – Хотите другую, дать вам еще? – Он смотрит вокруг себя, прижимая руку к голове. – Вы уже выкурили пять, а пришли в полночь, – продолжала женщина тем же хриплым, жалобным голосом. – Горюшко мне, горе! Бедная я, бедная, голова-то у меня болит, совсем стала плоха! Те двое пришли уже после вас. Просто беда, горюшко, дела плохи, хуже некуда, торговля падает. Мало в доках матросов из Китая, забредет разве какой, еще меньше ласкаров, а они говорят, что никаких новых кораблей в приходе нет и не ожидается! Вот тебе, голубчик, трубочка готова. Помни только, добрая душа, что теперь цена на рынке чертовски высокая. За такой вот наперсток – три шиллинга шесть пенсов, а то и больше сдерут! И знай, голубчик, что никто, кроме меня (и Джека-китайца на той стороне двора, но где там ему до меня) не знает секрета этого состава, только я одна знаю, как смешивать! Ты, голубчик, и заплатишь как следует, подороже, не правда ли?

Говоря это, она продолжает раздувать трубку, а то и сама затягивается, при этом вдыхая в себя значительное количество содержимого.

– Батюшки, легкие-то мои стали плохи, грудь у меня слабая, больная! Погоди, голубчик, уже почти готово. Ах, горюшко, рука-то моя сердечная так и дрожит, точно хочет отва-

литься! А я вижу, как ты просыпаешься, и уж говорю себе: я приготовлю ему трубочку, а он-то знает, какой дорогой сейчас опиум, и хорошо, как следует, заплатит мне за него. Головушка моя бедная! Ты видишь, голубчик, я трубки свои делаю из старых чернильных склянок, крошечных, как эта, по пенни штука. Потом прикреплю к ней мундштук и, взяв состав этой роговой ложечкой из этого наперстка, наполняю тебе трубочку, вот все и готово. Только вот нервы мои никуда не годятся. Я прежде шестнадцать лет пила черт знает какие настойки, а потом за это взялась, и вот это мне почти не вредит. А если и вредит, то чуть-чуть. Не стоит и толковать о таком ничтожном вреде! Зато, голубчик, это глушит голод, дает забвение, да и на еде экономия.

С этими словами она подает ему почти пустую трубку и падает на постель, повернувшись лицом вниз.

Он, шатаясь, встает с кровати, кладет трубку на печку и, отдернув рваную занавеску, с отвращением смотрит на лежащих людей. Он замечает, что женщина до того накурилась опиума, что стала странно походить на лежавшего рядом с ней китайца. Формы его щек, глаз и лба, его цвет лица – все повторяется в ней. Китаец судорожно дергается – борется, быть может, с одним из своих многочисленных богов или дьяволов – и злобно скалит зубы, страшно рыча. Ласкар смеется, и слюни текут по его губам. Женщина теперь лежит не двигаясь, молча, будто спит.

– Какие она может видеть сны? – спрашивает себя проснувшийся человек, сверху вниз глядя в лицо женщины, затем поворачивает к себе ее голову. – Что может ей представляться? Что за видения перед ней? Множество мясных лавок и кабаков и большой кредит там? О чем она может мечтать? Об увеличении числа ее несчастных покупателей, о том, чтобы починить эту отвратительную кровать или вымести этот грязный двор, избавившись от зловонной помойки? Разве какое бы то ни было количество опиума даст возможность подняться до чего-нибудь высшего? Что?

И он нагибается, чтобы расслышать ее невнятный шепот.

– Ничего не понятно!

Он смотрит, как ее время от времени подбрасывает во сне; следит за судорожными движениями, искажающими порой ее лицо и тело – так от быстрых молний иногда ночью содрогается темное небо, – и вдруг чувствует какое-то заразительное желание ей подражать; он невольно опускается в старое облезлое кресло у печки, поставленное, быть может, для таких случаев, и тихо сидит, пока не унимается пробудившийся в нем злой дух подражания. Потом он возвращается к кровати, обеими руками хватая китайца за горло и грубо поворачивает его лицом к себе. Китаец сопротивляется, пытается отодрать его руки, мычит, протестует.

– Что, что вы говорите?

Молчание длится с минуту.

– Нет, непонятно!

Медленно выпустив из рук китайца, к невнятному мычанию которого он тщетно прислушивается, проснувшийся человек оборачивается к ласкару и стаскивает его на пол. Ласкар, упав, приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, размахивает во все стороны руками и старается выхватить из-за пояса нож, которого там нет. Тогда становится очевидным, что женщина заранее, ради безопасности, отобрала и спрятала этот нож; она теперь тоже вскакивает и пытается удержать и уговорить ласкара; когда же они снова бесчувственно падают на пол, нож виднеется не у него, а у нее под одеждой.

При этом становится очень шумно, но в крике ничего нельзя разобрать. Если и слышатся какие-то внятные слова, то в них нет никакого смысла и связи. Поэтому зритель этой сцены, качая головой, только повторяет с мрачной улыбкой:

– Ничего не понятно! – Он произносит это с усмешкой, удовлетворенно кивнув головой. Потом он кладет на стол горсть серебряных монет, находит свою шляпу, спускается, шатаясь, по сломанным деревянным ступенькам, здоровается с привратником, воюющим с крысами в темном углу под лестницей, и выходит на улицу.

После полудня того же дня бледный, изнуренный пешеход подходит к массивной серой башне старинного собора; колокола звонят к вечерне и, вероятно, он обязан был присутствовать на службе, поэтому, ускоряя шаги, торопится войти в дверь собора. Подойдя к певчим, поспешно надевавшим свой белый несвежий официальный наряд, он достает свой и, сделав то же, следует за выходящей из ризницы процессией. Пономарь запирает решетчатую дверку, отделяющую алтарь от клироса, певчие занимают свои места и склоняют головы, закрыв лица руками. Через минуту слова торжественного гимна «Помилуй мя, Боже», как грозные отголоски грома небесного, раздались под старыми мрачными сводами собора.

## Глава II Ректор

Всякий, кто когда-нибудь наблюдал за обычаями степенной птицы грача, внешне напоминающей особ духовного звания, вероятно, не раз замечал, что, когда с наступлением ночи она возвращается домой, в свои гнездовья, в степенное, клерикальное общество своих сотоварищей, два грача вдруг неожиданно отделяются от остальных, и, пролетев немного назад, задерживаются, медлят, а потом снова тихо, как бы неохотно летят за стаей, словно внушая людям мысль о высокой политике мира грачей: эта хитрая пара играет роль отщепенцев, по каким-то своим тайным соображениям будто отказавшихся от всяких сношений с товарищами. Точно так же и здесь, в старинном соборе с четырехугольной массивной башней, когда по окончании службы певчие, толкаясь, высыпают из дверей и различные почтенные лица, видом своим чрезвычайно напоминающие грачей, расходятся во все стороны, двое из них делают несколько шагов назад и медленно прогуливаются по обнесенному оградой гулкому двору перед собором.

Не только день клонится к концу, но и год. Солнце висит низко на небе и, несмотря на свой пурпурный блеск, не греет, а холодно сияет над монастырскими развалинами; ползучие растения, увивающие стены собора, уже усеяли каменные плиты дорожек своими темно-красными листьями. Утром шел дождь, и теперь зимняя дрожь пробегает по лужам на неровных, в трещинах и выбоинах плитах и слегка колышет гигантские вязы, проливающие потоки слез на толстый слой листьев, которыми они же усеяли землю. Подгоняемые дуновением этого ветерка, часть листочков врывается в святилище собора под низким сводом церковной двери; но двое запоздалых прихожан, выходя в эту минуту из собора, ногами снова безжалостно отбрасывают на прежнее место эти несчастные листья. Как бы исполнив этим свою обязанность, один из них запирает дверь большим тяжелым ключом, а другой быстро удаляется с солидной нотной тетрадью под мышкой.

– Кто это прошел, Топ? Это мистер Джаспер? – спрашивает один из прогуливающихся по двору «грачей».

– Точно так, господин ректор.

– Долго же он сегодня оставался!

– Да, господин ректор. И я задержался из-за него, его немного скрючило.

– Скажите, Топ, что ему стало не по себе. А «его немного скрючило» – это не очень прилично, – замечает второй «грач» критическим тоном, как будто говоря: «Вы можете неправильно выразиться в разговоре со светскими людьми и мелким духовенством, но не с ректором».

Мистер Топ, главный сторож собора и чичероне<sup>1</sup> всех посетителей, слишком привык к торжественному тону со своими многочисленными гостями, с туристами, которых по долгу службы сопровождает при осмотре собора, чтобы обратить внимание на такую поправку своих выражений, и потому он с безмолвным достоинством ее не замечает.

– А где и как мистеру Джасперу стало не по себе? – спрашивает ректор. – Мистер Криспаркл справедливо заметил, что лучше сказать «не по себе», именно так, Топ, – говорит он своему собеседнику. – Где же и как мистеру Джасперу стало не по себе?

– Да, сэр, не по себе, – почтительно шепчет Топ.

– Так, Топ.

– Видите ли, сэр, у мистера Джаспера так сперло дыхание...

---

<sup>1</sup> Чичероне – проводники иностранных туристов при осмотре местных достопримечательностей.

– Я бы не сказал «сперло», Топ, – снова замечает Криспаркл тем же тоном, – это неприлично перед господином ректором.

– Лучше сказать «задохнулся», – снисходительно произносит ректор, немало польщенный косвенной лестью своего подчиненного.

– Мистер Джаспер до того тяжело дышал, входя в собор, – продолжил Топ, ловко обходя возникший подводный камень, – до того тяжело дышал, что с большим трудом пытался вытягивать ноты, и, вероятно, поэтому с ним через некоторое время приключилось нечто вроде обморока. Его память отключилась. – Мистер Топ произносит это слово подчеркнуто с ударением, пристально глядя на почтенного мистера Криспаркла, как бы вызывая его на поправку. – У него закружилась голова, глаза стали мутными, и такой на него нашел странный столбняк, какого я никогда не видывал, хотя он сам, кажется, и не обратил на это внимания. На него даже страшно было смотреть. Однако я дал ему воды, и к нему вскоре вернулась память, которая было отключилась. – Последнее слово Топ произносит с торжеством, как бы говоря: «Я угадал раз, так давай же повторю».

– Мистер Джаспер отправился домой, совсем уже придя в себя, не правда ли?

– Точно так, господин ректор, он пошел домой, уже полностью придя в себя. И я вижу, что он развел у себя огонь; теперь холодненько, а в соборе сегодня было очень сыро – он, бедный, совсем продрог и даже дрожал, будто его била лихорадка.

При этом они все трое взглянули в сторону старых каменных ворот, под сводами которых проходила дорога. Сквозь решетчатые окна каменного строения над воротами виднеется мерцание пылающего огня, благодаря чему в быстро наступающих сумерках прячется в тени черная масса плюща, винограда и других вьющихся растений на фасаде здания. При глухом бое соборного колокола какая-то дрожь пробегает по этой вьющейся листве, будто эхо торжественных звуков, перекатывающихся по всем уступам, углублениям, башням, могилам и статуям гигантской массы собора.

– А племянник мистера Джаспера приехал, уже у него? – спрашивает ректор.

– Нет, сэр, – отвечает сторож, – но его ожидают. Сейчас мистер Джаспер один. Вот виднеется фигура мистера Джаспера между двумя окнами: тем, которое выходит сюда, и тем, что на Большую улицу. Он сам задергивает свои занавески.

– Хорошо, хорошо, – быстро произносит ректор, явно желая прекратить беседу и закончить это маленькое совещание. – Я надеюсь, что мистер Джаспер не слишком отдается чувству привязанности к своему племяннику. Наши привязанности, как бы они ни были похвальны, не должны в сей брэнной жизни управлять нами; наоборот, мы должны руководить ими, даже управлять ими. А вот и мой звонок к обеду; приятно его слышать, когда проголодаешься, он напоминает, что меня ждут. А вы, мистер Криспаркл, по дороге домой, может быть, зайдете к Джасперу?

– Конечно, господин ректор. Сказать ему, что вы были так любезны и пожелали узнать о его здоровье?

– Да, да, скажите. Я пожелал узнать о его здоровье. Конечно, так и скажите, что я пожелал узнать о его здоровье.

При этом ректор с покровительственным видом сдвигает свою украшенную лентами шляпу набекрень, конечно, чуть-чуть, то есть насколько это прилично ректору – такому важному духовному лицу в хорошем расположении духа, и степенно направляется к сияющим рубиновым светом окнам столовой старого уютного кирпичного дома, где он проживает в настоящее время вместе с госпожой ректоршей и дочерью.

Мистер Криспаркл, младший каноник, красивый, румяный молодой человек, рано встающий и вечно бросающийся с головой во все окрестные водоемы – реку или озеро; мистер Криспаркл, младший каноник, веселый, добродушный и приятный, знаток классики и музыки, всем довольный по виду, если не по годам; мистер Криспаркл, младший каноник и

добрый малый, еще недавно репетитор в колледже, лихо правивший лошадьми на больших дорогах язычества, а теперь получивший бразды на вождение душ по стезе христианской веры благодаря покровительству одного вельможи (признательного за хорошее воспитание его сына), хоть и спешит домой, но не забывает зайти в каменное здание.

– Мы с сожалением узнали от Топа о вашем нездоровье, мистер Джаспер.

– О, это ничего, пустяки.

– Вы очень бледны, у вас нездоровый вид.

– Будто? Я так не думаю и, что еще лучше, этого не чувствую. Топ, наверное, придумал бог знает что по своей привычке. Вы знаете, он по своей должности привык придавать особенное значение всему, что имеет отношение к собору.

– Так, значит, я могу сказать ректору – я зашел именно по особому желанию ректора, – что вы совершенно поправились?

– Да, конечно. И передайте, пожалуйста, ректору мое почтение и благодарность за внимание, – отвечает Джаспер с едва заметной улыбкой.

– Я очень рад слышать, что вы ждете приезда молодого Друда.

– Я жду моего дорогого мальчика с минуты на минуту.

– Прекрасно! Он принесет вам больше пользы, чем любой доктор, мистер Джаспер.

– Больше пользы, чем дюжина докторов, а причина в том, что я его сильно люблю, всей душой, а докторов и лекарства совершенно не терплю.

Мистер Джаспер – смуглый мужчина лет двадцати шести, с густыми блестящими черными волосами и баками. На взгляд он гораздо старше, как часто бывает с людьми смуглыми. Голос его низкий, приятный, лицо и вся его фигура также приятны, но манера держаться немного сумрачна. Его комната также несколько мрачно вата, и, быть может, это как-то повлияло на него. Комната почти вся в тени, и даже, когда солнце ярко светит, лучи его редко достигают большого рояля, стоящего в углу, груды нот на этажерке, полки с книгами на стене или висящего над камином неоконченного портрета очень хорошенькой девочки (школьницы по возрасту) с развевающимися светло-каштановыми волосами, прихваченными голубой лентой, с детским, почти младенческим выражением комически сознательного недовольства на красивом упрямом личике, будто она сердится на кого-то, сама понимает, что не права, но ничего не хочет знать. В этом портрете нет ни малейшего художественного достоинства, это просто набросок, но ясно, что художник сделал портрет юмористическим, возможно, с некоторым злорадством похожим на оригинал.

– Мы будем очень сожалеть о вас, мистер Джаспер, на сегодняшнем музыкальном собрании, но, конечно, вам лучше остаться дома. Прощайте, доброй ночи, Христос с вами!

И добродушный младший каноник, достопочтенный Септимусус Криспаркл, отвернув свое приятное лицо от полурастворенной двери, мелодично затягивает: «Скажи мне, скажи, ви-да-л ли, ви-да-л ли, ви-да-л ли ты мою Флору...» – и, заливаясь, как соловей, спускается по лестнице.

С нижней площадки лестницы долетают звуки приветствий и разговора между достопочтенным Септимусом и кем-то неизвестным. Джаспер прислушивается, вскакивает со стула и принимает в объятия юношу, вбегающего в комнату.

– Дорогой мой Эдвин!

– Милый Джак! Я так рад тебя видеть!

– Сними же свое пальто, мой мальчик, и садись в свой любимый уголок. У тебя, верно, промокли ноги? Лучше сними сапоги! Сейчас же сделай это!

– Милый Джак, я совершенно сух и прошу тебя: не нянчись со мной. Вот молодец! Я терпеть не могу, когда со мной нянчатся.

Бесцеремонно остановленный в чистосердечной вспышке чувств, Джаспер теперь молча стоит и пристально смотрит, как его молодой гость снимает с себя пальто, шляпу,

перчатки. Этот пристальный, напряженный взгляд, это выражение жадной, требовательной, неусыпной и преданной любви и нежной привязанности всякий раз, теперь и впоследствии, появляются на лице Джаспера, как только он смотрит на юношу. Когда лицо Джаспера обращено в эту сторону, оно не бывает рассеянным, а постоянно сосредоточенно, а глаза словно впиваются в лицо Эдвина.

– Ну, теперь я готов и сяду в свой уголок, Джак. А обедать будем?

Мистер Джаспер отворяет дверь в противоположном конце комнаты: за ней виднеется весело освещенная лампой еще одна маленькая комната с накрытым белой скатертью столом, вокруг которого суетится и расставляет блюда весьма приличная женщина средних лет.

– Ай-да молодец, старик Джак! – восклицает молодой человек, хлопая в ладоши. – Но, Джак, послушай, скажи-ка мне, чей сегодня день рождения?

– Не твой, конечно, насколько мне известно, – отвечает Джаспер, подумав некоторое время.

– Не мой, конечно, насколько ты знаешь? Конечно, не мой, как ни удивительно, я это тоже знаю, а Кошурки!

Как ни пристален взгляд мистера Джаспера, устремленный прямо на молодого человека, но теперь неожиданно в нем как-то загадочно появляется отражение портрета, висящего над камином.

– Да, Кошурки, Джак! И мы с тобой должны выпить за ее здоровье. Ну, дядя, бери же своего покорного и голодного племянничка под руку и веди к столу.

С этими словами юноша (на самом деле почти еще мальчик) кладет руку на плечо Джаспера, который весело кладет ему на плечо свою, и они, таким образом обнявшись, идут в столовую.

– Господи, вот и миссис Топ! – восклицает юноша. – Прелестнее, чем когда бы то ни было!

– Не обращайтесь на меня внимания, мистер Эдвин, – отвечает жена соборного сторожа, – я и сама могу о себе позаботиться.

– Нет, вы не можете, вы слишком для этого прелестны. Но поцелуйте меня, ведь сегодня день рождения Кошурки!

– Я бы вам задала, молодой человек, если бы была на месте той, которую вы называете Кошуркой, – отвечает миссис Топ, краснея, после того как выполнила просьбу юноши. – Ваш дядя слишком носитя с вами, вот что! Он так высоко вас ставит, что вы думаете, стоит только позвать Кошурку – и их сразу же заявится к вам дюжина!

– Вы забываете, миссис Топ, – говорит с добродушной улыбкой Джаспер, садясь за стол, – и ты также, Нэд, что дядя и племянник – слова, здесь запрещенные с общего согласия и по особому постановлению. Да будет имя Божие благословенно за ниспосылаемый хлеб насущный... Аминь!

– Как здорово это у тебя сказано, Джак! Самому ректору впору! Свидетель я, Эдвин Друд! Ну, Джак, начинай резать жаркое, я не умею.

С этой шутки и легкой болтовни начинается обед, который к настоящему рассказу не имеет отношения, да и вообще ни к чему не имеет, пока гость и хозяин не покончили с ним. Наконец скатерть снята и на столе появляются блюдо грецких орехов и графин золотистого хереса.

– Слушай, Джак, – обращается к дяде молодой человек, – неужели ты действительно думаешь и чувствуешь, что всякое упоминание о нашем родстве может нас разъединить, помешать нашей дружбе? Я так не думаю.

– Как правило, Нэд, дяди бывают настолько старше своих племянников, что у меня инстинктивно возникает такое чувство.

– Как правило, может быть. Но что значит разница в каких-нибудь шесть-семь лет, это имеет какое-то значение? К тому же в больших семействах случается, что дяди бывают и моложе своих племянников. Дорого бы я дал, чтобы и у нас так было!

– Почему?

– Тебя это интересует? Потому что тогда я взял бы тебя в руки, Джак, наставлял бы тебя на путь истинный и был бы умен и строг, как «Скучная забота, обратившая юношу в старика, а старика в персть земную». Эй, Джак, погоди, не пей!

– Отчего?

– Ты еще спрашиваешь! Пить в день рождения Кошурки и без тоста за ее здоровье! За здоровье Кошурки, Джак, и пусть их будет много и много, я хочу сказать – дней ее рождения!

Дружески положив ладонь на протянутую руку юноши, как будто дотрагиваясь до его бесшабашной головы и беззаботного сердца, Джаспер с улыбкой молча выпивает предложенный бокал.

– Пусть она будет здорова сто лет, еще сто, да еще годик после этого! Ура, ура, ура! И так далее, и так далее! А теперь, Джак, поговорим о Кошурке. Дайте нам две пары щипцов для орехов! Одну возьми ты, Джак, а другую дай мне! Ну, каковы же успехи Кошурки, Джак?

– В музыке? В общем и целом неплохо.

– Какой ты слишком осторожный в словах человек, Джак! Но я ее знаю, слава Богу! Она невнимательна, не правда ли? Или ленится?

– Она может выучить все, когда захочет.

– Когда захочет! Вот в этом-то и дело. Ну, а если она не захочет?

– Крак! – Джаспер колет орехи.

– Как она сейчас выглядит, Джак?

– Очень похожа на твой рисунок, – отвечает Джаспер. И на этот раз во взгляде мистера Джаспера, устремленном на племянника, снова будто бы находит отражение портрет над камином.

– Я этим портретом горжусь, – говорит юноша, самодовольно глядя на свою картину. Прищурившись, с щипцами в руке, он внимательно разглядывает портрет как настоящий профессионал. – Недурно схвачено по памяти; я, должно быть, верно уловил это выражение, ибо я его довольно часто видел у Кошурки.

– Крак! – со стороны Эдвина Друда.

– Крак! – со стороны мистера Джаспера.

– Действительно, – продолжает молодой человек, перебирая ореховую скорлупу с каким-то недовольным видом, – я улавливаю это выражение всякий раз, когда хожу к Кошурке. И если его нет на ее лице в момент моего прихода, то непременно появляется, когда я ухожу. Вы это сами знаете, дерзкая резвушка! Вот я вас! – И он замахивается щипцами на портрет.

– Крак! Крак! Крак! – медленно со стороны Джаспера.

– Крак! – быстро и резко со стороны Эдвина Друда.

Молчание с обеих сторон.

– Что, ты проглотил язык, Джак?

– А ты, Нэд?

– Нет, но, право... Ведь действительно?

Джаспер вопросительно поднимает свои темные брови.

– Но справедливо ли быть лишенным выбора в таком деле? Знаешь ли, Джак, я тебе признаюсь, что если бы я мог выбирать, то из всех хорошеньких девушек на свете выбрал бы только Кошурку.

– Но тебе и не надо выбирать.

– Вот это-то и плохо. Ведь вздумалось же моему покойному отцу и покойному отцу Кошурки обручить нас так рано, чуть не в колыбели. На кой черт, сказал бы я, если бы это не было непочтительно по отношению к их памяти, они это сделали? Отчего им было не оставить нас в покое?

– Тише, тише, дорогой мой! – мягко и нежно останавливает его Джаспер.

– Тише, тише, тебе хорошо так говорить, Джак. Тебе все равно, ты спокоен. Твоя жизнь не рассчитана, не расчерчена, не размечена вся наперед, как топографическая карта. Ты не чувствуешь неприятного подозрения, что тебя насильно навязывают девушке, которая, возможно, этого совсем не хочет! А ей неприятно сознавать, что ее, может быть, навязали тебе или тебя ей против твоего желания! И что от этого никуда не деться. Ты-то можешь свободно выбирать свою судьбу. Жизнь для тебя – яблоко с его естественным румянцем, которое никто не соскоблил для тебя, а подали свежим, прямо с дерева... А мне из-за чрезмерной заботливости подали вымытое, вытертое, без аромата... Джак, что ты?

– Не останавливайся, мальчик, продолжай.

– Неужели я сказал тебе что-то неприятное, обидное, Джак?

– Как ты мог сказать мне что-то неприятное или обидеть меня?

– Господи, как ты побледнел, Джак! У тебя даже глаза будто помутнели.

Джаспер с натянутой улыбкой протягивает к нему правую руку, как бы желая уничтожить всяческое подозрение и то ли успокоить племянника, то ли попытаться успокоиться самому и выиграть время. Наконец, спустя некоторое время, он тихо произносит:

– Я принимал опиум от болей, от страданий, которым я иногда подвержен. Влияние этого лекарства выражается в каком-то тумане, по временам застилающем мне глаза. Именно сейчас наступила такая минута, но это скоро пройдет. Отвернись, пожалуйста, тогда скорее пройдет.

Испуганный юноша подчиняется и устремляет глаза на тлеющие угли в камине. Джаспер, не отводя пристального взгляда от огня, а, напротив, как бы усиливая его сосредоточенность, крепко впивается пальцами в ручки кресла и в продолжение нескольких минут, напряженный, сидит неподвижно. Затем крупные капли пота выступают у него на лбу, он тяжело переводит дыхание и приходит в себя. Племянник подходит к нему и нежно ухаживает за ним. Когда же силы его полностью возвращаются, то, положив руку на плечо юноши, Джаспер неожиданно произносит тоном более спокойным, чем того требует содержание его слов, даже несколько иронически, словно подтрунивая над простодушным юношей:

– Говорят, что в каждом доме есть своя тайна, о которой никто не догадывается, и ты полагал, дорогой Нэд, что в моей жизни ее нет?

– Клянусь жизнью, Джак, я и сейчас так думаю. Однако, если задуматься, то даже в доме Кошурки, если бы у нее был дом, и у меня, если бы он был у меня...

– Когда я тебя невольно прервал, ты, кажется, хотел сказать, что у меня самая спокойная жизнь, не правда ли? Вокруг меня, по-твоему, ни шума, ни суеты, я не знаю ни риска, ни хлопот, ни беспокойства от перемены мест и, преданный своему любимому искусству, живу в свое удовольствие, сидя в тихом уголке. Так ведь?

– Я действительно хотел сказать нечто подобное, но ты, говоря о себе, пропустил кое-что, о чем я сказал бы... Например, я непременно упомянул бы прежде всего, что ты всеми уважаем, как светский клерк или как там называется твоя должность в нашем соборе, что ты пользуешься репутацией преобразователя хора певчих, с которым прямо творишь чудеса, что ты занимаешь в обществе независимое положение и имеешь большие связи, наконец, что ты обладаешь педагогическим талантом (даже Кошурка, которая не любит учиться, и та говорит, что у нее никогда не было такого учителя, как ты).

– Да, я видел, к чему ты клонишь. Я ненавижу свое положение.

– Ненавидишь, Джак? – восклицает с изумлением юноша.

– Да, ненавижу. Горькое однообразие моей жизни точит меня. Ты слышал наше пение в соборе? Каким ты его находишь?

– Чудесным, просто божественным!

– А мне оно часто кажется адским. Оно мне так надоело. Эхо моего собственного голоса под мрачными сводами собора, кажется, издевается над моим ежедневным горемычным прозябанием. И так ведь будет до конца дней – и сегодня, и завтра, все одно и то же, одно и то же... Ни одному несчастному монаху, жившему трутнем прежде меня, день и ночь бормотавшему молитвы в этом мрачном здании, жизнь не могла, наверное, так надоест, как мне. Они, эти монахи, могли хоть для развлечения, для души вырезать дьяволов на стенах и сиденьях. А мне что делать? Вырезать разве дьяволов или демонов из своего собственного сердца?

– А я-то полагал, что ты нашел свое место в жизни, Джак, – с удивлением отвечает Эдвин Друд, наклоняясь к Джасперу, кладя ему руку на колени и с беспокойством и сочувствием глядя ему в глаза.

– Я знаю, что ты так думал. Все так думают.

– Да, наверное, – говорит Эдвин, будто размышляя вслух, – по крайней мере, Кошурка так думает.

– Когда она тебе об этом говорила?

– В последний раз, когда я был здесь. Помнишь, три месяца тому назад?

– Как же именно она сказала?

– Да ничего такого. Она только сказала, что стала твоей ученицей и что ты просто создан быть учителем, это твое призвание.

При этом молодой человек взглянул на портрет над камином, что не ускользает от Джаспера, который видит портрет, не отрывая взгляда от племянника.

– Как бы то ни было, милый Нэд, – произносит он, качая головой и со спокойной улыбкой, – я должен примириться со своим призванием, теперь уже поздно что-либо менять. А что в душе, сверху не видно. Помни только, Нэд, это должно остаться между нами.

– Я свято сохраняю твою тайну, Джак.

– Я потому и доверился тебе, что...

– Я знаю. Потому что мы закадычные друзья и ты меня любишь и доверяешь мне, как я тебя люблю и доверяю тебе. Поверь мне, я это прекрасно чувствую. Давай руку, нет, обе руки, Джак!

Джаспер берет протянутые ему руки и, сжимая их, не спуская глаз со своего племянника, продолжает:

– Ты теперь знаешь, не правда ли, что даже несчастный певчий и жалкий музыкант в его однообразном положении может терзаться честолюбием, амбицией, недовольством или беспокойством, испытывать неудовлетворенность, иметь какие-то стремления, мечты, как хотите это называйте...

– Да, милый Джак.

– И ты будешь это помнить?

– Еще бы, как я могу забыть то, что ты произнес с таким чувством?

– Так пусть это послужит тебе назиданием и предостережением.

Он отпускает юношу и, отойдя назад, пристально вглядывается в него.

Высвободив свои руки из рук Джаспера, Эдвин останавливается на минуту, чтобы обдумать, к чему относятся последние слова Джаспера; потом произносит растроганным голосом:

– Я боюсь, что я пустой, легкомысленный малый, Джак, и голова моя не из лучших. Но я молод и, быть может, с годами стану лучше, поумнею. Во всяком случае я надеюсь, что во мне есть нечто способное чувствовать и понимать, глубоко чувствовать все благород-

ство твоего поступка. Я понимаю, как бескорыстно ты, несмотря на всю горечь для себя, раскрыл передо мной свое сердце, только чтобы предостеречь меня от будущих грозящих мне опасностей.

Напряженность лица и всей фигуры Джаспера достигает такой крайней степени, что дыхание словно замирает у него в груди.

– Я не мог не заметить, Джак, что это стоило тебе большого усилия, что ты был очень взволнован и совсем не походил на себя. Конечно, я знал, что ты сильно меня любишь, но я не мог ожидать, что ты готов принести себя таким образом в жертву ради меня.

Джаспер, к которому снова вернулось дыхание, и он вновь ощутил себя человеком из плоти и крови, смеется и машет правой рукой.

– Нет, не отказывайся от своего чувства, Джак, я говорю теперь совершенно искренне. Я нимало не сомневаюсь, что то болезненное состояние духа, которое ты так страшно описал, приносит настоящие, мучительные страдания, которые невыносимо переносить. Но позволь мне, Джак, тебя успокоить: я не думаю, чтобы мне угрожало такое положение. Через несколько месяцев, менее чем через год, ты знаешь, я заберу из школы Кошурку под именем миссис Эдвин Друд и отправлюсь на Восток, где меня ждет место инженера, конечно, вместе с Кошуркой. Хотя сейчас мы иногда ссоримся из-за неизбежного однообразия моего уходаживания (ведь какой особенный пыл в любви, если все у нас решено заранее), я не сомневаюсь, что мы отлично заживем, когда нас обвенчают, возврата не будет и деваться будет некуда. Одним словом, Джак, говоря словами старой песни, которую я почти процитировал за обедом (а кто лучше тебя знает старые песни?), «я буду петь, жена плясать, и жизнь в веселье протекать». Что Кошурка красавица, в этом нет сомнения, а когда вы, дерзкая барышня, – продолжает Эдвин, обращаясь к портрету, – будете и добры, и послушны, то я сожгу эту карикатуру и напишу новый портрет вашему учителю музыки!

Джаспер слушает Эдвина, подперев рукой подбородок, с благосклонной улыбкой на лице и внимательно следит за выражением и жестами молодого человека, вслушиваясь в каждую его интонацию. Даже когда тот закончил, он несколько минут продолжает оставаться в той же позе, в каком-то очаровании, исходившем от того сильного интереса, который возбуждает в нем столь любимый им юноша. Наконец он произносит со спокойной улыбкой:

– Так ты не хочешь слушать мое предостережение?

– Нет, Джак, это не нужно.

– Значит, тебя не стоит предостерегать?

– Нет, Джак, тебе нельзя. К тому же я не считаю себя в опасности и не желаю, чтоб ты ставил себя в подобное положение из-за любви ко мне.

– Что же, пойдем прогуляемся по кладбищу?

– Конечно. Ты только позволишь мне на минуту забежать в Монастырский дом и отдать посылку? Это всего лишь перчатки для Кошурки, столько пар, сколько ей сегодня минуло лет. Не правда ли, поэтично, Джак?

– Нет ничего сладостнее в жизни, Нэд, – произносит Джаспер, оставаясь все в той же позе.

– Вот они, перчатки, в моем пальто. Их непременно надо передать сегодня, а то пропадет вся поэзия. Я не могу, по правилам школы, видеть ее вечером, но отдать посылку не запрещено. Ну, Джак, я готов!

Джаспер встает, и они оба отправляются в путь.

## Глава III

### Монастырский дом

По уважительным причинам, которые станут понятны из нашего последующего рассказа, мы должны назвать этот город со старинным собором вымышленным именем. Пусть он будет Клойстергам. Это очень древний городок, и, вероятно, он был известен друидам под другим, уже забытым названием, римлянам – под третьим, саксонцам – под четвертым, а нормандцам – под пятым; поэтому одним именем больше или меньше в длинном ряду веков не может иметь никакого значения для его пыльных летописей.

Клойстергам – древний городок и неудобное местожительство для всех, кого привлекает шумный свет, мирская суета. Однообразный, вроде бы скучный городок, он пропитан каким-то могильным запахом, запахом плесени, исходящим от соборного склепа; да и на каждом шагу в городе вы встретите множество остатков монашеских могил, так что жители разводят клумбы на прахе настоятелей и настоятельниц, а детишки играют песком, который некогда был прахом монахов и монахинь, тогда как соседние пахари на ближнем поле обращаются с государственными казначеями, архиепископами, епископами и подобными знатными особами так, как желал обращаться со своими посетителями людоед в детской сказке, то есть смолоть на муку их кости и испечь себе хлеб.

Сонный городок этот Клойстергам, и жители его полагают со странной, хотя и не редкой непоследовательностью, что все перемены в нем уже в далеком прошлом и что в будущем его ничего нового не ожидает. Удивительное и не особенно логичное будто бы рассуждение, если вспомнить историю: ведь и в самой глубокой древности люди думали так же. Улицы Клойстергама так тихи и безмолвны (хотя эхо в них раздается чрезвычайно громко при малейшем звуке), что в жаркий летний день спущенные в лавках шторы не смеют шелхнуться под дуновением южного ветра. Вообще город так благолепен и приличен, что обожженный солнцем бродяга, который случайно забредет в него, удивленно озираясь вокруг, торопится поскорее выбраться с его строгих улиц. Впрочем, этот последний подвиг не слишком труден, так как весь Клойстергам состоит из одной узкой улицы, по которой входишь и выходишь из города; все остальное – только тесные проулки, заводящие в тупик, с колодезными насосами посредине. Исключение составляют площадь перед собором, сам собор и мощеная площадка перед домом квакеров, по форме и цвету чрезвычайно похожим на чепчик квакерши.

Одним словом, Клойстергам с его хриплыми соборными колоколами, с его такими же хриплыми грачами, снующими над башней собора, и с еще более хриплыми не так заметными «грачами», размещающимися в креслах внизу собора, – это город не нашего, а давно прошедшего времени. Обломки старых стен и часовни, посвященной какому-нибудь святому, здания женской обители и монастыря и т. д. как-то странно вклинились в новые дома и сады, подобно тому как такие же отжившие понятия поселились в сознании многих клойстергамских жителей. Все тут носит печать прошлого. Даже единственный в городе ростовщик не выдает более ссуд и тщетно старается распродать накопившиеся у него запасы, среди которых самое дорогое – это старые, словно вспотевшие, с побледневшими или почерневшими циферблатами часы, сломанные, поблекшие щипцы для сахара и разрозненные тома каких-то книг мрачного содержания. Самые обильные и приятные доказательства прогрессивной, победоносной жизни Клойстергама – это процветающие, богатые буйной растительностью многочисленные сады. Даже обветшалый, жалкий маленький местный театр имеет свой садик, и, когда злой дух по ходу действия проваливается со сцены в преисподнюю, он падает на этот клочок земли среди бобов или устричных раковин, смотря по сезону.

В самом центре Клойстергама возвышается Монастырский дом – старое-престарое почтенное кирпичное здание, теперешнее название которого, вероятно, связано с легендой о том, что в нем когда-то был женский монастырь и жили монахини. На тяжелых старинных его воротах блестит начищенная медная вывеска с надписью: «Пансион для девиц. Мисс Твинклтон». Фасад у этого дома такой старый и обветшалый, а медная вывеска так ярко сияет и бросается в глаза, что прохожий с некоторым воображением может представить себе, глядя на это здание, старого отжившего щеголя с новеньким блестящим моноклем в слепом глазу.

Ходили ли по этим коридорам в те времена монахини (бывшие, по слухам, намного скромнее, чем сегодняшние их ровесницы) с опущенными головами, чтобы не натолкнуться на нависшие над головами балки потолков в низеньких кельях; сидели ли они в глубоких амбразурах, перебирая четки для умерщвления своей плоти, а не нанизывая их в ожерелье для своего украшения; были ли некоторые из них замурованы живыми в углублениях ниш или выдающихся углах здания за то, что в них бродила еще та закваска матери Природы, которая до сих пор поддерживает жизнь сего мира, – все это вопросы, быть может, интересные лишь призракам, посещавшим этот дом (если таковые были), но они не упоминались в полугодовом балансе мисс Твинклтон. Они не появлялись ни в статьях постоянного, ни в статьях срочного расхода, ни как пансионерки, ни как проходящие. Дама, руководившая поэтическим просвещением воспитанниц этого учреждения за мизерную плату, не имела в своем списке стихотворений ни одного, посвященного такой бесприбыльной теме.

В некоторых случаях, при частом пьянстве или под регулярным гипнозом, у человека возникают два разных состояния, которые никогда не приходят в столкновение, а каждое из них идет по своему отдельному пути, словно этот путь никогда не прерывался и не сменялся время от времени другим: так, если я, например, в пьяном виде спрячу часы, то в трезвом не знаю, куда спрятал, и, чтобы найти их, мне надо опять напиться. Подобным же образом мисс Твинклтон имела две отдельные, определенные фазы существования. Каждый вечер, после того как молодые девицы отправляются спать, мисс Твинклтон взбивает свои локоны, придает глазам небывалый блеск и вообще становится такой живой, легкомысленной и веселой мисс Твинклтон, какой ее никогда не видывали и не знали воспитанницы. Каждый вечер в один и тот же час мисс Твинклтон возвращается к прерванному предыдущим вечером разговору, обсуждает все сплетни, скандалы, любовные истории Клойстергама, о которых днем она вовсе не подозревает, и предается воспоминаниям о счастливом сезоне на Тенбриджских водах (легкомысленно называемых ею в этой фазе своей жизни просто Водами). Именно о том сезоне, когда один приятный джентльмен, которого мисс Твинклтон в этой фазе своей жизни сострадательно называет «глупец мистер Портерс», объяснился ей в любви (об этом факте мисс Твинклтон в школьной фазе своей жизни имеет такое же понятие, как камень или гранит). Постоянная собеседница мисс Твинклтон в обеих фазах ее существования и одинаково приспособленная к той и другой, вдова по имени миссис Тишер, почтенная женщина с больной спиной, хроническим кашлем и глухим, тихим голосом. В пансионе она следит за гардеробом девиц, постоянно напоминая им, что видала лучшие дни. Вероятно, поэтому из-за таких неопределенных намеков между слугами и распространились слухи, принимаемые на веру всеми – как старыми, так и новыми обитателями Дома, – что покойный мистер Тишер был парикмахером.

Любимая ученица Монастырского дома – мисс Роза Буттон, прозванная, конечно, Розовым Бутоном, удивительно хорошенькая, очень юная и весьма капризная девочка. Молодые девицы, ее подруги, питают к мисс Буттон особый, романтический интерес: всем известно, что по официальному завещанию ее отца ей уже избран муж, которому ее опекун обязан передать девушку из рук в руки по достижении им совершеннолетия. Мисс Твинклтон в школьной фазе своего существования старалась побороть, погасить романтический оттенок

судьбы мисс Буттон и часто за хорошенькими плечиками девочки горестно пожимала плечами, демонстрируя сочувствие к несчастной будущности бедной маленькой жертвы. Но все ее усилия ни к чему не приводили, быть может, оттого, что в них проскальзывало воспоминание о «глупом мистере Портерсе»; во всяком случае, девицы, видя эти проделки мисс Твинклтон, единогласно восклицали по вечерам в дортуаре: «Вот противная старая жеманница!»

Никогда в Монастырском доме не бывает такого волнения, как во время очередного посещения предназначенного маленькой Розе мужа (все девицы единогласно полагают, что он имеет законное право на эту привилегию и что, если бы мисс Твинклтон стала бы сопротивляться, то ее немедленно арестовали бы и выслали). Когда ожидается или действительно раздастся его звонок у ворот, то каждая девица, которой под каким-нибудь предлогом это удастся, высовывается из окна; каждая из тех девиц, что играют в это время на фортепиано, берет фальшивые ноты, а урок французского проходит так плохо, что штрафная метка «за невнимание» путешествует по всему классу так же быстро, как заздравный кубок в веселой пирующей компании.

На другой день после описанного обеда у мистера Джаспера звонок у ворот Монастырского дома вызвал обычную реакцию: смятение и суматоху.

– Мистер Эдвин Друд к мисс Розе, – докладывает старшая горничная.

– Вы можете идти вниз, милая, – говорит мисс Твинклтон со скорбным видом, обращаясь к юной жертве. И мисс Буттон выходит из комнаты, провожаемая пристальными любопытными взглядами всех девиц.

Эдвин Друд между тем дожидается Розу в собственной гостиной мисс Твинклтон, приятной комнате, совершенно не напоминающей об унылой школьной обстановке. Только два глобуса (один изображает Землю, а другой – небесный свод) должны красноречиво напоминать родителям и опекунам девиц, что даже в те минуты, когда мисс Твинклтон отдыхает и возвращается к частной жизни, чувство долга может каждую минуту сделать ее неким подобием Вечного Жида<sup>2</sup>, странствующего по земле и небесам в поисках знаний для пользы девиц – своих воспитанниц.

Новая горничная, еще никогда не видевшая джентльмена, с которым помолвлена мисс Роза, старательно пытается познакомиться с ним сквозь щель полурастворенной двери и, пойманная на месте преступления, быстро с виноватым видом убегает по черной лестнице в кухню в ту самую минуту, как прелестное маленькое видение, с наброшенным на голову шелковым передником, вбегает в гостиную.

– О, как это глупо! – восклицает видение, останавливаясь посреди комнаты. – Не надо так делать, Эдди.

– Чего не надо делать, Роза?

– Не подходи ближе. Это так глупо!

– Что глупо, Роза?

– Все! Глупо быть сиротой-невестой, обрученной почти в колыбели, глупо, что все девицы и слуги повсюду следят за мной, точно мыши под обоями, глупее всего, что ты приходишь сюда!

Судя по выговору, очевидно, во рту у видения пальчик.

– Нечего сказать, ты любезно принимаешь меня, Кошурка!

– Ну, погоди минутку, Эдди, сейчас еще я не могу. Как ты поживаешь? Как себя чувствуешь? – Сказано очень быстро и резко.

– Не могу тебе сказать, что всегда чувствую себя хорошо, когда вижу тебя, особенно теперь, в данную минуту, когда я тебя вовсе не вижу, Кошурка.

---

<sup>2</sup> Герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, обреченный Богом на вечную жизнь и скитания.

При этом упреке из-за угла передника выглядывает блестящий черный глаз с насупленной бровкой, но в то же мгновение исчезает, и скрытое видение кричит изо всей силы:

– О, батюшки, что ты наделал? Ты отрезал себе почти все волосы!

– Лучше бы я отрезал себе голову, – недовольно говорит Эдвин, взъерошивая оставшиеся волосы и с досадой взглянув в сторону зеркала. – Что же мне, уходить?

– Нет, не уходи пока еще, Эдди, а то девицы станут меня преследовать вопросами, почему ты ушел так скоро.

– Что же, Роза, ты откроешь когда-нибудь свою взбалмошную головку и поздороваться со мной как следует?

Затем фартучек падает и из-под него появляется очаровательное детское личико.

– Ну, здравствуй, Эдди, как ты поживаешь? – произносит девочка. – Как, это вежливо с моей стороны? Вот и я. Дай я пожму тебе руку. Нет, целоваться не могу, у меня во рту леденец.

– Ты совсем не рада меня видеть, Кошурка?

– Нет, я страшно рада. Садись поскорее! Мисс Твинклтон!

Эта почтенная особа считает своим долгом во время посещений молодого человека являться в комнату каждые три минуты либо сама, либо присылать миссис Тишер, и таким образом, под предлогом поиска какой-либо забытой вещи достойная воспитательница приносит свой дар на алтарь Приличия. На этот раз мисс Твинклтон лично входит в комнату и, прошагав туда и сюда, вроде бы на ходу говорит:

– Здравствуйте, мистер Друд, очень рада вас видеть. Извините, пожалуйста, я забыла ножницы. Благодарствуйте! – После этого она скрывается за дверью.

– Я получила вчера перчатки, Эдди, и очень обрадовалась. Они прелестные, очень мне понравились.

– Дождался хоть чего-нибудь, – снисходительно отвечает жених, ворча себе под нос. – Я человек скромный, и всякое малейшее внимание принимаю с благодарностью. А как ты провела свой день рождения, Кошурка?

– Чудесно! Все мне сделали подарки, и у нас был пир, а вечером бал.

– А, пир и бал? Кажется, эти важные события отлично проходят и без меня. И тебя не огорчило мое отсутствие? И без того было весело?

– Отлично! – восклицает Роза весело, без малейшего смущения.

– А в чем же состоял ваш пир? Чем угощали?

– Были креветки, апельсины, желе, пирожные.

– А на балу были кавалеры?

– Мы танцевали друг с дружкой, сэр. Но некоторые из девиц изображали своих братьев, и это было так весело!

– А кто-нибудь изображал...

– Тебя? Конечно! – восклицает Роза, весело смеясь. – Об этом подумали прежде всего.

– Я надеюсь, что мою роль хорошо исполнили, – говорит Эдвин с некоторым сомнением.

– О, чудесно! Замечательно! Я, конечно, не хотела с тобой танцевать, ты понимаешь?

Эдвин этого не понимает и просит Розу объяснить ему, почему же все-таки?

– Потому что ты мне уже надоел, – отвечает Роза, но, увидев неудовольствие и обиду на его лице, быстро прибавляет: – Но ведь и я тебе тоже надоела, Эдди, милый, ты же знаешь!

– Разве я когда-нибудь это говорил, Роза?

– Говорил? Ты никогда не станешь такое говорить! Но только давал почувствовать! О, как она это хорошо сыграла! – восклицает Роза в восторге от удачного выступления подруги, сыгравшей роль ее жениха.

– А это, должно быть, чертовски бесстыдная девчонка, – говорит Эдвин Друд. – Итак, Кошурка, ты провела свой последний день рождения в этом старом доме.

– О да! – произносит Роза, всплеснув руками, тяжело вздыхая и грустно качая головой.

– Тебе, кажется, жаль, Роза?

– Конечно, мне действительно жаль старого дома. Я чувствую, что и он станет скучать, и всем будет скучно, когда меня увезут отсюда так далеко, такую молоденькую...

– Не лучше ли в таком случае нам покончить с этим делом, Роза?

Девочка бросает на него быстрый, веселый взгляд, но через секунду качает головой и, снова вздохнув, потупляет взор.

– Что же ты хочешь сказать, Кошурка, что мы оба должны мириться со своим положением?

Она молча наклоняет голову в знак согласия и после короткой паузы живо восклицает:

– Ты же сам знаешь, Эдди, что мы должны пожениться и венчаться здесь, и свадьбу сыграть, а то бедные девицы будут так разочарованы!

На лице жениха Кошурки появляется скорее жалость к себе и к ней, чем любовь. Но он пересиливает свое волнение и спокойно предлагает:

– Хочешь, пойдем погуляем, милая Роза?

Милая Роза не совсем уверена, хочет ли она пойти погулять или нет, но вдруг ее личико, комично задумчивое, с выражением озабоченности, светлеет, и она восклицает:

– О да, Эдди, пойдем гулять! И я тебе скажу, что мы сделаем. Ты притворись женихом какой-нибудь другой девушки, а я представлю, что вообще не выхожу замуж и ни с кем не помолвлена, вот мы тогда и не будем ссориться.

– Ты думаешь, Роза, это поможет? Помешает нам спорить?

– Непременно. Поможет, я уверена. Но тише, смотри в окно – миссис Тишер.

По какому-то случайному стечению обстоятельств именно сейчас миссис Тишер что-то понадобилось в комнате, куда она величаво вошла, зловеще шелестя своим платьем, как легендарный призрак вдовы – старой герцогини в шелковых юбках.

– Я надеюсь, вы здоровы, мистер Друд? – произносит она. – Хотя, видя вас, нечего об этом и спрашивать. Извините пожалуйста, что вас беспокою, но я забыла здесь костяной ножик для разрезания бумаги. Ах, вот он, благодарствуйте!

И она торжественно исчезает.

– И еще, Эдди, ты должен сделать, что я тебя попрошу, пожалуйста, – говорит Роза. – Открыв дверь и выпустив меня на улицу, ты сам иди у самой стенки, да прижмись к ней как можно ближе, а я пойду по тротуару.

– Изволь, Роза, если это тебе доставит удовольствие, но смею спросить: зачем?

– Да потому, что я не хочу, чтобы тебя видели девицы.

– Сегодня хорошая погода, светит солнце, правда, но хочешь, я раскрою над собой зонтик?

– Не дурачьтесь, сэр, – произносит Роза, надув губки и передернув плечом. – На тебе сегодня не лакированные туфли.

– Может быть, девицы этого не заметят, если даже и увидят меня, – Эдвин с неожиданным отвращением смотрит на свои сапоги.

– Ничто не ускользает от их внимания, сэр. Я знаю, что будет. Некоторые станут тут же смеяться надо мной (они ужасно дерзкие) и уверять, что никогда не выйдут замуж за человека, который не носит лакированных туфель. Вот мисс Твинклтон, сейчас я у нее отпрошусь.

Действительно, в эту минуту за дверью слышится голос этой почтенной тактичной особы, спрашивающей неизвестно кого, а по всей вероятности, никого:

– Да? Вы уверены, что видели мои перламутровые запонки на рабочем столе в моей комнате?

Роза тотчас к ней выбегает и просит позволения пойти погулять, что ей милостиво разрешается. Через несколько минут юная пара выходит из Монастырского дома, приняв всевозможные меры, чтобы скрыть от девиц неприличную обувь мистера Друда, меры, которые, будем надеяться, вселили спокойствие в расстроенное сердце будущей миссис Друд.

– Куда же мы пойдем, Роза?

Роза отвечает:

– В лавочку, где продают рахат-лукум.

– Что?

– Рахат-лукум. Это турецкие лакомства, сэр. Батюшки, как это ты ничего такого не знаешь? Такой необразованный! Еще называешь себя инженером!

– Да зачем мне знать о каком-то рахат-лукуме, Роза?

– Очень просто, потому что я его очень люблю. Ах, я и забыла, что ты должен изображать жениха другой девицы. Ты прав, тогда ты и знать ничего не должен о рахат-лукуме.

Взгрустнувшего Эдвина Друда ведут в лавочку, где Роза покупает турецкое лакомство и, предложив его своему жениху, который от него с презрением отказывается, она начинает весело уплетать его за обе щеки – конечно, прежде сняв и свернув в комоч маленькие розовые перчатки и по временам снимая розовыми пальчиками с губ сахарную пудру рахат-лукума.

– Ну, будь милашкой, Эдвин, притворись и давай поговорим. Итак, вы, сэр, женитесь?

– Да, женюсь.

– Она хороша?

– Прелестна.

– Высокого роста?

– Очень высокая. – (Роза очень маленького роста.)

– Она, конечно, долговязая и неуклюжая? – спокойно замечает Роза.

– Прошу прощения, несколько, – отвечает Друд, вдруг ощутив в себе желание спорить во что бы то ни стало. – Она то, что называется видная, красивая женщина. Классическая красота!

– Большой нос, верно? – снова спокойно уточняет Роза.

– Конечно, не маленький. – (У Розы нос маленький.)

– Длинный бледный нос с красным кончиком. Знаю я эти носы, – самодовольно говорит Роза и продолжает спокойно уплетать свое лакомство.

– Ты вовсе не знаешь этих носов, – живо возражает Эдвин. – У нее нос вовсе не такой.

– Не бледный нос, Эдди?

– Нет. – Юноша решил ни с чем не соглашаться.

– А! Значит, красный? Я не люблю красных носов. Впрочем, она может его присыпать пудрой.

– Она презирает пудру и никогда не пудрится, – отвечает Эдвин горячась.

– Действительно? Вот глупая-то! И она во всем так же глупа?

– Нет. Ни в чем она не глупа.

Наступает молчание, и с капризно-плутовским лицом Кошурка из-под руки следит за выражением лица своего жениха. Наконец она спокойно произносит:

– И эта умнейшая из девиц, конечно, очень довольна, что ее увозят в Египет? Не правда ли, Эдди?

– Да, она серьезно интересуется достижениями инженерного искусства, особенно, когда оно призвано перестроить всю жизнь неразвитой страны.

– Вот тебе на! – произносит Роза, пожимая плечами, и улыбка удовольствия озаряет ее лукавое личико.

– Так ты, Роза, решительно возражаешь против того, чтобы она этим интересовалась? – спрашивает Эдвин, покровительственно поглядывая на смеющееся маленькое создание.

– Возражаю? Дорогой Эдди! Но неужели она не питает ненависти к паровым машинам и к прочему?

– Я могу поручиться за нее, что она не дурочка, и потому не питает ненависти к паровым машинам, – уже раздраженно отвечает Эдвин. – Но относительно ее мнения «о прочем» не могу ничего сказать, так как решительно не понимаю, что это такое «прочее».

– Как? Она ведь ненавидит арабов, турок, феллахов и всякий другой народ?

– Конечно, нет. И не думает.

– Так она, по крайней мере, ненавидит пирамиды? Согласись хоть с этим, Эдди.

– Зачем же ей быть дурочкой, даже большой дурой, чтобы ненавидеть пирамиды?

– О, ты бы послушал, как о них толкует мисс Твинклтон, и тогда бы не спрашивал! – говорит Кошурка, с восхищением смакуя осыпанное сахарной пудрой турецкое лакомство. – Неинтересные старые могилы! Всякие там Изиды, Хеопсы и фараоны, кому до них дело? И еще какой-то Бельцони<sup>3</sup>, или как его там звали, вздумал в них лазить, и его вытащили за ноги, едва не задохнувшегося от пыли и летучих мышей. У нас все девицы говорят «поделом ему» и жалеют, что он там совсем не задохнулся.

Наступает продолжительное молчание, и юная пара рядом, но уже не рука об руку, как-то неохотно ходит взад и вперед по скверу, время от времени останавливаясь и разбрасывая ногами устилающие землю опавшие листья.

– Ну, – произносит после долгого молчания Эдвин, – так продолжаться не может.

Роза качает головой и заявляет, что она вовсе и не желает, чтобы продолжалось.

– Это уже плохо, Роза, особенно если учесть...

– Почему? Что учесть?

– А если я скажу почему, то ты опять рассердишься и начнешь спорить.

– Я не сердилась. Это ты, Эдди, будешь спорить. Не будь несправедливым!

– Несправедливым?! Я? Мне это нравится!

– А мне не нравится, и я говорю тебе об этом прямо! – восклицает Роза, надув губки.

– Ну, Роза, рассуди сама, кто стал осуждать мою профессию, мое место назначения, мои планы?..

– Я надеюсь, ты же не хочешь похоронить себя в пирамидах? – произносит Роза, поднимая свои тонкие брови. – Ты мне никогда об этом не говорил. Если это входит в твои планы, надо было мне об этом сказать. Я не могу отгадывать твои намерения.

– Полно, Роза, ты очень хорошо знаешь, что я хотел сказать.

– Хорошо, но кто же начал говорить о своей гадкой красноносой великанше? И она непременно, непременно, непременно посыпает нос пудрой! – восклицает Роза с комической яростью.

– Так или иначе, но я почему-то всегда виноват в этих спорах, – произносит Эдвин, смиренно вздыхая.

– Как же вы можете, сэр, быть правы, когда вы всегда виноваты? А что касается этого Бельцони, то я надеюсь, что он умер. И я не понимаю, какое отношение его ноги и обмороки могут иметь к тебе?

– Тебе, Роза, пожалуй, пора домой; мы не очень-то весело погуляли, не правда ли?

– Весело? Ужасно скучно, сэр! Если я, вернувшись домой, буду до того плакать, плакать и плакать, что не смогу идти на урок танцев, то ты за это ответишь, запомни!

– Ну, Роза, разве мы не можем быть друзьями!

---

<sup>3</sup> Бельцони Джованни Баттиста (1778–1823) – известный египтолог и коллекционер.

– Ах, – восклицает Роза, качая головой, и настоящие слезы уже навертываются у нее на глаза, – как бы я этого хотела! Но это невозможно, нам нельзя, а потому мы так и сердим друг друга! Я еще так молода, а у меня такое большое горе. У меня уже давно болит сердце, право, давно. Не сердись, я знаю, что и тебе тяжело! Нам обоим было бы лучше, если бы мы не обязаны были пожениться, а только могли бы, если захотели. Я теперь говорю серьезно и не дразню тебя. Давай наберемся терпения и простим друг друга!

Обезоруженный этим проявлением женского чувства в избалованном ребенке (хотя ему и слышится упрек в ее словах о навязывании себя), Эдвин Друд молча стоит перед Розой, пока она плачет и всхлипывает. Наконец, со своим обычным непостоянством, она вытирает глаза платком и уже смеется над своей чувствительностью. Эдвин берет ее под руку и ведет к ближней скамейке под вязами.

– Давай поговорим, милая Кошурка, – говорит он, усаживая ее под тенью развесистого вяза. – Я не очень-то разбираюсь во всем, что не касается моего инженерного дела, да и там-то я теперь не вполне в себе уверен, но я всегда хочу поступать честно. Нет ли... может быть... право, я не знаю, как сказать, а сказать надо прежде, чем мы расстанемся... Нет ли какого-нибудь другого молодого...

– Ах, нет, Эдди! Это очень благородно с твоей стороны спрашивать меня, но нет, нет, нет!

В эту минуту они подошли к скамейке, стоявшей под самыми окнами собора, откуда доносились звуки органа и чудное, стройное пение. Слушая эти мелодичные торжественные звуки, Эдвин Друд невольно вспоминает вчерашний разговор с Джаспером, услышанные признания и удивляется: как странно противоречит эта стройная небесная мелодия откровенной мучительной исповеди Джаспера, разладу в его душе.

– Мне кажется, я слышу голос Джака, – тихо замечает он, сосредоточившись на своих мыслях.

– Отведи меня поскорее домой! – вдруг восклицает Роза, схватив его за руку. – Пойдем, все сейчас выйдут. Какой громкий у него голос! Не надо слушать! Не останавливайся, скорее!

Они поспешно выходят из сквера, но потом рука об руку продолжают путь довольно медленно по Большой улице к Монастырскому дому. У ворот Эдвин осматривается и, видя, что на улице никого нет, наклоняется к щечке Розы. Она, смеясь, отодвигается, и снова на ее лице сияет улыбка счастливой легкомысленной школьницы.

– Нет, Эдди, меня нельзя целовать, у меня губы слишком сладкие. Но дай мне руку, я тебе пошлю в нее поцелуй.

Он протягивает руку, она, смеясь, подносит ее к губам, дует на нее, на его сложенные горсткой пальцы и, не выпуская, заглядывает ему в ладонь и спрашивает:

– Ну-ка, скажи, что ты в ней видишь?

– Что я вижу? Что же я могу там увидеть?

– Я думала, что вы все, египтяне, умеете гадать по руке, только посмотрев на ладонь, и видеть там, что с нами будет. Неужели ты не видишь в своей руке нашего счастливого будущего?

Счастливого будущее? Может быть! Но достоверно только то, что ни одному из них не кажется счастливым настоящее, когда монастырские ворота открылись и Роза вошла во двор, а Эдвин удалился по улице.

## Глава IV Мистер Сапси

Принимая Джака-осла за воплощение самодовольной глупости и чванства, что более общепринято, чем справедливо, как многие другие взгляды, надо признаться, что самый отъявленный Джек-осел во всем Клойстергаме – это аукционист мистер Томас Сапси.

Мистер Сапси старается походить на ректора, подражает ему в одежде; на улице по ошибке ему два раза поклонились, приняв за ректора, даже однажды назвали публично «милорд», подумав, что это сам епископ, неожиданно приехавший в Клойстергам без своего причта. Мистер Сапси очень этим гордится, как и своим голосом, и красноречием. Он даже позволяет себе (продавая с аукциона недвижимое имущество) называть цены нараспев, чтобы еще больше походить на настоящее, по его мнению, духовное лицо. Оканчивая продажу с молотка, объявляя о закрытии торгов, мистер Сапси обращается к собравшимся маклерам, воздевая вверх руки, и словно благословляет их таким торжественным образом, так эффектно, что сам ректор, скромный и благовоспитанный господин, никогда не мог достичь такой торжественности.

У мистера Сапси много поклонников. Действительно, подавляющее большинство местных жителей, в том числе даже не верящие в его премудрость, считают, что он является украшением их города. Он обладает многими качествами, способствующими популярности: он напыщен и глуп; держится, словно проглотил аршин, что сказывается не только на его фигуре, но и на его речи (говорит плавно, с растяжкой); кроме всего этого, при разговоре постоянно выразительно разводит руками, будто собирается совершить конфирмацию над тем, с кем разговаривает; ходит важно, медленно. Ближе к шестидесяти годам, чем к пятидесяти, с выдающимися очертаниями живота; по рассказам, богатый, всегда голосующий на выборах за почтенных кандидатов, представляющих интересы состоятельных слоев общества; непоколебимо убежденный, что ничто, кроме него, не выросло с тех пор, как он был ребенком, и только он стал взрослым, а все остальные несовершеннолетние, – тупоголовый мистер Сапси, конечно, не может не делать чести Клойстергаму и местному обществу.

Мистер Сапси проживает в собственном доме на Большой улице напротив Монастырского дома. Его жилище относится к тому же периоду, что и Монастырский дом, только позже местами обновлено, чуть осовременено – по мере того как постоянно вырождающиеся поколения стали все более и более предпочитать свет и воздух тифозной горячке и чуме. Над входной дверью красуется деревянное изображение в половину человеческого роста отца мистера Сапси, в тоге и кудрявом парике, в момент исполнения своих обязанностей – продаж с аукциона. Целомудренная чистота идеи и натуральность указательного пальца, молотка и трибуны много раз удостаивались всеобщего одобрения зрителей.

Именно теперь мистер Сапси сидит в своей мрачной гостиной, выходящей окнами на мощный задний двор и на обнесенный забором сад. Перед мистером Сапси стоит бутылка портвейна на столе возле камина, в котором пылает огонь, что хотя и рановато для этого времени года, но чрезвычайно приятно в холодный осенний вечер; мистер Сапси может позволить себе такую роскошь, его окружают собственный портрет, настенные, с недельным заводом часы и барометр. Они характерны для мистера Сапси, ибо он противопоставил себя всему остальному человечеству, свой барометр – погоде и свои часы – времени.

Рядом с мистером Сапси стоит конторка с письменными принадлежностями. Глядя на лежащий перед ним исписанный лист бумаги, мистер Сапси с торжественным видом читает про себя запись и потом, медленно прохаживаясь по комнате и засунув большие пальцы в

петли своего сюртука, повторяет на память прочитанное, но так тихо, хотя с большим достоинством, что слышится только одно слово – «Этелинда».

На том же столе у камина стоит поднос с тремя чистыми рюмками.

– Пришел мистер Джаспер, сэр, – докладывает, входя, служанка.

Мистер Сапси молча машет рукой, как бы говоря: «Проси», и выдвигает вперед поднос и две рюмки из шеренги, как двух солдат срочной службы, призванных в армию.

– Очень рад вас видеть, сэр. Я поздравляю себя с той честью, которую вы мне оказали своим приходом сюда. – Вот как мистер Сапси принимает гостя, достойно выполняя роль радушного хозяина.

– Вы очень любезны, но это честь мне, а не вам, и поздравлять также могу себя я, а не вы.

– Вам угодно так полагать, сэр, но уверяю вас, мне доставляет большое удовольствие принимать вас в моем скромном доме. А это я сказал бы не каждому.

Мистер Сапси произносит эти слова с такой торжественной интонацией, с таким достоинством, что всякому понятна не произнесенная им, но подразумеваемая фраза: «Вам трудно поверить, чтобы ваше более чем скромное общество принесло удовольствие такому человеку, как я. Но это все же так».

– Я давно желал познакомиться с вами, мистер Сапси.

– А я много слышал о вас, сэр, как о человеке с большим вкусом. Позвольте мне налить вам вина и предложить тост, – говорит мистер Сапси, наполняя собственную рюмку, и торжественно произносит:

– Когда француз придет,  
Пусть в Дувре нас найдет!

Это был патриотический тост во времена детства мистера Сапси, и он не сомневался в его применимости ко всякому случаю и во всякую последующую эпоху.

– Вы, конечно, сознаете, мистер Сапси, – замечает Джаспер, с улыбкой глядя на аукциониста, который с комфортом расположился перед камином, протянув ноги к огню, – что вы знаете свет.

– Ну, сэр, – отвечает Сапси с усмешкой, – я полагаю, что кое-что знаю.

– Ваша репутация в этом отношении всегда меня интересовала и удивляла, вселяя желание познакомиться с вами. Ведь Клойстергам – маленькое местечко, а я, запертый в этой трущобе, не видел ничего далее, так откуда же и взяться знанию света?

– Если я и не бывал в чужих краях, молодой человек... – начинает мистер Сапси и потом вдруг останавливается. – Вы извините меня, что я называю вас молодым человеком, мистер Джаспер, но вы гораздо моложе меня.

– Сделайте одолжение.

– Если я и не бывал в чужих краях, молодой человек, то чужие края сами прибыли ко мне. Они прибывали в связи с моей профессией, и я пользуюсь каждым представившимся случаем пополнить свои знания. Например, я составляю инвентарь или каталог; я вижу французские часы, которых никогда прежде не видел в жизни, но я тотчас кладу на них палец и говорю: «Париж!» Если я вижу китайские чашки и блюдечки, которых тоже раньше не видел, я немедленно кладу на них палец и говорю: «Пекин, Нанкин и Кантон». То же самое с Японией и Египтом; то же самое с бамбуковым и сандаловым деревом из Ост-Индии – я на них всех кладу палец. Не раз накрывал я этим пальцем Северный полюс, говоря: «Пика работы эскимосов, куплена за полпинты хереса!»

– Неужели? Замечательный, очень любопытный способ узнавать людей и предметы, мистер Сапси.

– Я упоминаю об этом, сэр, – произносит мистер Сапси с необыкновенным самодовольствием, – потому что, как я всегда утверждаю, не следует хвастаться тем, до чего вы дошли, и гордиться своими знаниями, но надо показать, как вы до этого дошли, как их достигли, что будет лучшим доказательством вашего искусства, и тогда вам поверят.

– Очень интересно. Но вы, кажется, хотели поговорить со мной о покойной миссис Сапси?

– Да, сэр, – отвечает мистер Сапси, снова наполняя рюмки вином и пряча графин подальше. – Но прежде, чем я спрошу у вас как у человека со вкусом совета относительно этой безделицы, – аукционист показывает бумагу, которую он недавно читал, – а это действительно безделица, хотя для этого надо было подумать и поломать себе голову, я, быть может, должен обрисовать вам характер покойной миссис Сапси, умершей девять месяцев тому назад.

Мистер Джаспер, скрывавший зевоту за рюмкой, ставит свою импровизированную ширму на стол и старается принять вид человека внимательного, интересующегося тем, что ему говорят. Но это выражение лица несколько портят его отчаянные усилия побороть снова одолевающую его зевоту.

– Лет шесть тому назад или около этого, когда я развил свой ум до того состояния (я не скажу «в котором он находится теперь» – это было бы слишком много), чтобы почувствовать потребность поглотить в своем уме другой ум, я стал искать подругу жизни, потому что, как я всегда говорю, нехорошо человеку быть одиноким.

Мистер Джаспер, по-видимому, старается усвоить и не забыть эту оригинальную мысль.

– Мисс Бробити в то время содержала на другом конце города заведение, не то чтобы соперничавшее, но параллельное с Монастырским домом, похожее на него по своим целям. Все уверяли, что она страстно увлекалась моими аукционами, посещала их, когда они приходились на праздники или каникулы. Люди говорили, что она восторгалась моим красноречием, моими манерами и что даже свойственные мне обороты речи начали проявляться в разговорах учениц мисс Бробити. Молодой человек, дело дошло до того, что шепотом (такой слух мог возникнуть среди тайных злопыхателей) рассказывали, будто один дерзкий невежа и безумец (отец одной из девиц) стал публично возражать против этого, осмелившись назвать меня по имени. Я, правда, этому не верю, ибо невероятно, чтобы человек в своем уме захотел бы сделать себя предметом, как я говорю, всеобщего презрения и решился бы добровольно приковать себя к позорному столбу.

Мистер Джаспер молча качает головой, как бы подтверждая: «Действительно, невероятно». Мистер Сапси, самозабвенно вещающий, будто по рассеянности пытается налить еще вина в рюмку своего гостя, до сих пор полную, а на самом деле наполняет свою рюмку, уже пустую.

– Все существо мисс Бробити, молодой человек, было преисполнено уважения к человеческому уму. Она преклонялась перед умом, подкрепленным широким знанием мира. Когда я сделал ей предложение, то она оказала мне честь тем, что почувствовала нечто вроде священного страха и не могла произнести ничего, кроме слов: «О ты!» – подразумевая меня. Ее чистые голубые очи были обращены на меня, ее полупрозрачные руки были крепко сжаты, смертельная бледность покрыла ее лицо с орлиным профилем, и, несмотря на все мои просьбы, она не прибавила ни единого слова к своему восклицанию. Я отдал родственное учебное заведение по частному контракту другому лицу, и мы стали единым существом, насколько это было возможно при данных обстоятельствах. Но она и впоследствии никогда не могла найти и не нашла фразы, в полной мере оценивающей мой ум и мой интеллект. До самого конца (она умерла от болезни печени) она всегда обращалась ко мне в такой же неоконченной форме.

Глаза мистера Джаспера слипались под отяжелевшими веками по мере того, как аукционист все больше и больше понижал голос. Теперь же он вдруг их открывает и, вторя торжественному голосу мистера Сапси, произносит: «А...», словно удерживаясь, чтобы не прибавить: «Какая чушь!»

– С тех пор, – продолжает мистер Сапси, наслаждаясь вином и теплом от пылающего камина, перед которым он греет ноги, – я остался со своим горем тем, кем вы меня видите: одиноким, безутешным вдовцом; с тех пор я вынужден по вечерам разговаривать лишь с пустынным воздухом. Я не скажу, чтобы я себя упрекал в чем-нибудь, но часто спрашиваю себя: что, если бы ее муж был ей ближе по умственному развитию? Если бы ей не приходилось так закидывать голову, чтобы взглянуть на супруга снизу вверх? Какое бы влияние это оказало на ее печень – быть может, укрепляющее?

Мистер Джаспер произносит, как бы внезапно обнаруживая самое грустное расположение духа, что, верно, «так уж было суждено».

– Да, теперь мы можем так предполагать, сэр, – отвечает мистер Сапси. – Как я всегда говорю, человек предполагает, а Бог располагает. Быть может, это та же самая мысль, только выраженная в другой форме, но я именно так говорю.

Мистер Джаспер невнятно бормочет, что он согласен.

– А теперь, мистер Джаспер, – снова начинает аукционист, подавая гостю свои листы, – когда памятник миссис Сапси успел осесть и высохнуть, позвольте мне узнать ваше как человека со вкусом мнение о той надписи, что я приготовил не без некоторого напряжения ума, о чем я уже упоминал. Возьмите лист в руки. Вы должны глазами воспринять расположение строк, а умом – их содержание.

Джаспер повинуется и читает следующее:

«Здесь покоится  
ЭТЕЛИНДА,  
Почтительная жена  
Мистера ТОМАСА САПСИ,  
Аукциониста, оценщика, земельного агента и т. д.  
Здешнего города,  
Который, несмотря  
На обширное знание света,  
Никогда не соприкасался  
С душой, более способной  
Достойно оценить его, взирать на него  
С благоговением.  
ПРОХОЖИЙ, ОСТАНОВИСЬ!  
И спроси себя: МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ?  
Если нет, то, КРАСНЕЯ, ОТОЙДИ».

Тем временем мистер Сапси, передав листок мистеру Джасперу, встал спиной к камину так, чтобы следить за тем, как станет меняться выражение лица человека со вкусом, когда тот будет читать эту надпись; поэтому он обращен был лицом к двери, когда в комнате снова появилась служанка и доложила:

– Пришел Дердлс, сэр.

– Просите Дердлса, – отвечает мистер Сапси, быстро подходя к столу и наливая доверху третью рюмку.

– Великолепно! – произносит Джаспер, возвращая лист хозяину.

– Вы одобряете, сэр?

– Невозможно не одобрить. Эта надпись поразительна, характерна и завершена!

Аукционист слегка наклоняет голову, как человек, принимающий должное и выдающий расписку в получении. В эту минуту входит Дердлс, и Сапси, подавая ему рюмку, предлагает выпить, чтобы согреться.

Дердлс – каменщик по профессии, преимущественно по части монументов, гробниц и могильных плит, которые и наложили на всю его фигуру с ног до головы свою печать, и весь он того же цвета, что и произведения его рук. Нет человека в Клойстергаме более известного, чем Дердлс. Он всеми признанный распутник. О нем идет слава, что он удивительный рабочий, что, может быть, и справедливо, хотя никто никогда не видел его за работой, и что он отчаянный пьяница – а это каждый видел собственными глазами и может засвидетельствовать. Соборный склеп и подземелье он знает лучше всех живых, да и, пожалуй, уже умерших. Говорят, что это тесное знакомство (давнее затем глубокие познания) началось с того, что он, постоянно пьяный, искал там убежища от клойстергамских уличных мальчишек и пользовался свободным входом в склеп как подрядчик по текущему ремонту, чтобы спокойно проспать от винных паров. Как бы то ни было, он знает многое об этом склепе и при перестройке старых стен или полов видел, случалось, странные вещи. Говоря о себе, о своих приключениях, он обычно выражается в третьем лице, быть может, потому, что во время рассказа несколько путается, сомневается, с ним ли все это происходило, а быть может, и потому, что неукоснительно следует клойстергамскому обычаю говорить о себе – как об известной, выдающейся личности – в третьем лице. Так, например, он выражается о странных виденных им зрелищах: «Дердлс подходит к старику и ударяет своим заступом прямо в его гроб. Старик смотрит на Дердлса открытыми глазами, словно говоря: “Вас зовут, Дердлс? Я вас ждал черт знает сколько времени”. И, сказав это, он рассыпается в прах». (Речь идет о знатном покойнике старых времен, захороненном под собором.) С аршином в кармане и молотком в руках Дердлс постоянно ходит взад и вперед по собору, постукивая там и сям по стенам и полу. Когда он говорит Топу: «Топ, здесь лежит еще один старик», Топ немедленно докладывает ректору, что в соборной старине обнаружена новая находка.

На Дердлсе вечно один и тот же наряд, состоящий из куртки из грубой шерстяной фланели с роговыми пуговицами, желтого шарфа с обтрепанными концами, старой шляпы, более похожей на рыжую, чем черную, какой она когда-то была, и башмаков со шнуровкой цвета его каменных изделий. В таком костюме Дердлс постоянно ведет бродячий образ жизни, нося с собой в узелке свой обед и съедая его на первом попавшемся надгробном камне. Этот узелок с обедом Дердлса сделался какой-то обязательной клойстергамской достопримечательностью – не только потому, что каменщик никогда не появляется без него на людях, но и потому, что в некоторых известных случаях этот обед попадал в полицию вместе с Дердлсом (задержанным в публичных местах пьяным до бесчувствия) и как вещественная улика фигурировал в клойстергамском суде. Эти случаи, однако, происходили довольно редко, ибо Дердлс так же редко бывает совершенно пьян, как и вполне трезв. Что касается остальной его жизни, то Дердлс – старый холостяк и живет в маленьком старом недостроенном домишке, который, говорят, сооружался из камней, украденных из городской стены. В это жилище нельзя проникнуть иначе, как оказавшись по колено в щебне и осколках всевозможных монументов, надгробных камней, урн, сломанных колонн, скульптурных творений различной степени законченности. Здесь два работника постоянно тешут камни, а двое других пилят каменные глыбы двуручной пилой, стоя друг против друга, каждый в своей будочке-укрытии, попеременно появляясь и исчезая с какой-то механической точностью, словно это не живые люди, а символические фигурки-автоматы, представляющие Время и Смерть.

Мистер Сапси внимательно следит за Дердлсом, и, когда тот выпивает предложенную ему рюмку портвейна, он торжественно вручает ему драгоценное детище своей Музы. Бесчувственный Дердлс молча вынимает из кармана свой аршин и равнодушно измеряет строчки надписи, засыпая их песчаной пылью с аршина.

– Это для памятника, мистер Сапси?

– Да. Это надгробная надпись, эпитафия, – произносит Сапси и в предвкушении похвалы с нетерпением ожидает, какое впечатление произведет его дивное творение на ум простого смертного.

– Как раз придется вершок в вершок, – говорит Дердлс. – Точно, до одной восьмой дюйма. Мистер Джаспер, мое почтение. Как ваше здоровье? Надеюсь, в порядке?

– А ваше, Дердлс?

– Так, ничего, только я страдаю гробматизмом, мистер Джаспер, но это и должно быть.

– Вы хотите сказать, ревматизмом, – несколько резко замечает Сапси. (Он очень оскорблен таким механическим отношением к его литературному произведению, в котором Дердлса заинтересовала только длина строк.)

– Нет, мистер Сапси, я хочу сказать гробматизмом. Это совсем иное, чем просто ревматизм, это болезнь особая. Мистер Джаспер знает, что хочет сказать Дердлс. Пойдите-ка зимой до рассвета сразу в соборный склеп и возитесь там между гробами с утра до вечера, все дни вашей жизни, как говорится в катехизисе, и вы поймете, что понимает Дердлс.

– Да, в соборе страшно холодно, – поддакивает Джаспер, убедительно вздрагивая.

– Если вам холодно на клиросе, наверху, среди живых людей, согревающих воздух своим дыханием, то каково же Дердлсу внизу, в подвале, в склепе, под сырой землей, где одно лишь дыхание мертвецов? Вот Дердлс и предоставляет вам самому об этом судить... Вы желаете, мистер Сапси, чтобы за вашу надпись тотчас принялись?

Мистер Сапси с нетерпением автора, жаждущего видеть свои труды в печати, отвечает, что «чем скорее, тем лучше и начать, и закончить».

– Тогда дайте мне ключ от склепа.

– Зачем? Ведь не внутри же будет надпись, а снаружи!

– Дердлс сам знает, где будет надпись, мистер Сапси, и никто не знает лучше него. Спросите кого угодно в Клойстергаме, знает ли Дердлс свое дело, и всякий вам ответит, что уж свое дело Дердлс знает.

Мистер Сапси встает, достает ключ из стола, отпирает железный сейф в стене и вынимает оттуда другой ключ.

– Когда Дердлс, – подробно объясняет каменщик, – переделывает что-либо или оканчивает свой труд внутри или снаружи, вроде как кладет последний штришок, то он любит осмотреть всю свою работу и удостовериться, что она делает ему честь.

Приняв ключ из рук безутешного вдовца и убедившись, что он большого размера, Дердлс кладет свой аршин в специально для этого предназначенный карман панталон и, распахнув сюртук, демонстрирует громадный боковой карман, пришитый с внутренней стороны, который принимает ключ в свою разверстную пасть.

– Что это, Дердлс, – восклицает Джаспер, – вы сплошь в карманах?

– Я ношу в них такие тяжести, мистер Джаспер. Попробуйте, – произносит Дердлс, подавая Джасперу извлеченные из кармана еще два больших ключа.

– Дайте мне и ключ мистера Сапси... Это, конечно, самый тяжелый из трех?

– Ну, и какова тяжесть! Это все ключи от склепов. Они отпирают работу Дердлса, и Дердлс почти всегда держит при себе ключи от своей работы. Впрочем, они не так уж часто бывают нужны.

– Ах да, – неожиданно произносит Джаспер, рассматривая ключи, – я уже давно хотел вас спросить, но все забывал. Вы знаете, конечно, что вас иногда называют Каменный Дердлс?

– Клойстергам меня знает под именем Дердлса, мистер Джаспер.

– Конечно, вы абсолютно правы, но мальчишки иногда...

– О, если вы обращаете внимание на этих чертенят мальчишек... – резко перебивает его Дердлс.

– Я обращаю на них такое же внимание, как и вы, не больше, но на днях мы спорили на клиросе, происходит ли это название от какого-либо имени... – продолжает Джаспер, ударяя ключ о ключ.

– Не ломайте перемычки, мистер Джаспер.

– Или оно происходит... – Джаспер постукивает ключами.

– Вы не подберете под тон, мистер Джаспер.

– Или оно происходит, – повторяет Джаспер, – от вашей профессии. Скажите, какое предположение правильное?

Мистер Джаспер, до сих пор лениво развалившийся в кресле, выпрямляется, взвешивает ключи на руке и, отвернувшись от огня, на который он, сидя, до сих пор смотрел, подает ключи Дердлсу с хитрым, дружеским выражением лица.

Каменный Дердлс, при этом изрядный грубиян, хоть и постоянно находясь под влиянием винных паров в смутном, неопределенном состоянии, высоко ценит, однако, свое достоинство и легко обижается от каждой пустяковой шутки. Поэтому он молча опускает два ключа в свой карман и аккуратно пристегивает его пуговицей, потом берет свой узел с обедом со спинки стула, на которую при входе его повесил, опускает для равновесия третий ключ в этот узел, словно он любит есть холодное железо; затем он выходит из комнаты, не удостоивая мистера Джаспера ни ответом, ни поклоном.

После ухода каменщика мистер Сапси предлагает своему гостю сыграть парию в трик-трак; и эта игра, сопровождаемая его назидательным поучительным разговором, и затем ужин, состоящий из холодного ростбифа с салатом, занимают весь вечер до позднего часа. Мудрость мистера Сапси, проявляясь скорее в расплывчатом многословии, чем в афористичности, еще далеко не исчерпалась, но его гость обещает возвратиться в другой раз за большим количеством этого драгоценного товара, и потому мистер Сапси отпускает его теперь, чтобы тот основательно все взвесил и поразмыслил на досуге над тем, что получил и уносит с собой.

## Глава V

### Мистер Дердлс и его друг

Возвращаясь домой, уже за оградой собора Джон Джаспер неожиданно останавливается, увидев перед собой Дердлса, прислонившегося со своим обеденным узелком к железной решетке, которая отделяет кладбище от старых монастырских стен. Невдалеке безобразный оборванный уличный мальчишка бросает камни в Дердлса как в отличную мишень, ярко выделяющуюся при лунном свете. Иногда камни попадают в него, а иногда нет; но Дердлс одинаково равнодушен к тому или другому обороту своей судьбы. Отвратительный уличный оборванец, напротив, каждый раз, попадая в цель, оглашает воздух торжествующим победным свистом, что ему было чрезвычайно легко, ибо у него как нарочно отсутствовала половина передних зубов; когда же он промахивается, то кричит: «Мимо! Промазал!» – и старается исправить ошибку, прицеливаясь поаккуратнее и ехиднее.

– Что же ты делаешь с человеком? – спрашивает Джаспер, выступая из тени в светлую полосу улицы, освещенную луной.

– Стреляю в цель, – отвечает безобразный уличный мальчишка.

– Отдай мне сейчас же все камни, что у тебя в руке!

– Как же! Сейчас! Возьми! Я тебе их подам прямо в глотку, если только подойдешь! – визжит мальчишка, отскакивая на несколько шагов. – Я тебе глаз вышибу, если не уберешься.

– Ах ты, чертенок! Что тебе сделал этот человек?

– Он не хочет идти домой.

– А тебе какое дело?

– Он платит мне полпенни, чтобы я его загонял домой камнями, если встречу поздно ночью на улице, – отвечает мальчишка и начинает вдруг отплясывать и во все горло петь, дико подпрыгивая и стуча своими изорванными башмаками с распущенными шнурками:

– Прочь, прочь, по домам!

Коли встречу по ночам,

Закидаю всех камнями,

Чтоб не шлялись здесь ночами.

Последние слова он произносит с особым ударением, обращаясь к Дердлсу. Это, по-видимому, у них условный знак, которым мальчишка предупреждает Дердлса, чтобы тот был наготове принимать еще удары или убирался домой.

Джон Джаспер приглашает мальчишку кивком головы следовать за ним (чувствуя всю невозможность уговорить его силой или лаской) и переходит улицу к чугунной решетке, прислонившись к которой, Каменный (и заброшенный камнями) Дердлс о чем-то глубоко задумался.

– Знаете ли вы этого мальчишку, эту тварь? – спрашивает Джаспер, затрудняясь подыскать надлежащее определение маленькому палачу.

– Депутат, – отвечает Дердлс, кивая головой.

– Это... его имя?

– Депутат, – повторяет Дердлс.

– Я слуга в «Двухпенсовой гостинице для приезжих», что у газового завода, – объясняет мальчишка. – Всех слуг в этой гостинице называют Депутатами. Когда у нас работа окончена и все приезжие легли спать, я выхожу на улицу подышать свежим воздухом для здоровья.

Сказав это, он отбегает на несколько шагов и начинает снова целиться, распевая: «Прочь, прочь, по домам!..»

– Стой! – кричит Джаспер. – И не смей бросать, пока я рядом с ним, или я тебя убью на месте! Послушайте, Дердлс, я вас провожу домой. Хотите, я понесу ваш узелок?

– Ни за что на свете, – отвечает Дердлс, крепче прижимая к себе свой узелок. – Когда вы подошли, сэр, Дердлс был углублен в свои думы, окруженный своими творениями, как по... пу... пуделярный автор. Вот здесь ваш собственный зять (и Дердлс широким жестом как бы представляет саркофаг, холодно белеющий за решеткой при лунном свете); миссис Сапси (жест в сторону памятника этой преданной жене); покойный пастор (указывает на разбитую колонну, красующуюся над останками этого достопочтенного джентльмена); сборщик пода-тей (показывает рукой на кувшин с полотенцем в виде урны, размещенной на пьедестале, напоминающем кусок мыла); всеми уважаемый пирожник, продавец кондитерских товаров и сдобных изделий (обращает внимание на надгробный камень – серую могильную плиту). Все в целости и сохранности. Всем им здесь спокойно и безопасно, и все это работа Дердлса! А о простых смертных, чьи надгробья просто засыпаны землей и заросли терновником, чем меньше говорить, тем лучше: о таком сброде все скоро забывают.

– Эта тварь, Депутат, идет за нами, – говорит Джаспер, оглядываясь. – Разве он так и будет преследовать нас?

Отношения между Дердлсом и Депутатом, похоже, сложились самые странные, ибо, когда Дердлс поворачивается с медленной торжественностью пропитанного пивом человека, то Депутат отбегает в сторону на почтительное расстояние и принимает оборонительную позу.

– Ты не кричал сегодня «закидаю всех камнями», прежде чем начинать свое дело, – произносит Дердлс, неожиданно вспомнив или сообразив, что ему нанесена обида.

– Ты лжешь, я кричал, – отвечает Депутат, не зная другой более приличной формы вежливого возражения.

– Это дикарь, сэр, – замечает Дердлс, снова поворачиваясь к Джасперу и тут же неожиданно забывая нанесенную или померещившуюся ему обиду. – Настоящий дикарь! Но я дал ему цель в жизни.

– Он теперь в нее и целится? – уточняет Джаспер.

– Так, сэр, – продолжает Дердлс, очень довольный замечанием своего собеседника, – он именно в нее и целится. Я взял его за руку и дал ему цель в жизни. Кем он был прежде? Разрушителем. Что он делал? Все разрушал. Что он получал за это? Заточение на короткие сроки в Клойстергамской тюрьме. Не было человека, вещи, строения, окошка, лошади, собаки, птицы, свиньи, кошки, воробья, которых бы он не забрасывал камнями, – и все потому, что не имел разумной цели в жизни. Я поставил перед ним эту разумную цель, и теперь он может зарабатывать честным трудом свой полпенни в день, или целых три пенса в неделю, а это немало!

– Я удивляюсь, что у него нет конкурентов.

– Их множество, мистер Джаспер, но он их всех забрасывает камнями. Правда, я не знаю, как назвать эту мою с ним систему, – продолжает Дердлс с торжественным глубокомыслием пьяного. – Я не знаю, как бы вы назвали ее. Это... ведь что-то вроде системы... народного просвещения?

– Конечно же, нет, – отвечает Джаспер.

– Да и я также полагаю, что нет, – соглашается Дердлс, – так лучше и не будем стараться найти ей название.

– Он все же идет за нами! – восклицает Джаспер, оборачиваясь. – Что, разве это так и будет продолжаться?

– Мы не можем миновать «Двухпенсовой гостиницы», если пойдем кратчайшей дорогой, то есть задом, – отвечает Дердлс, – а там мы с ним расстанемся.

Таким образом они и продолжают идти: Депутат следует в арьергарде и, нарушая безмолвие ночной уединенной улицы, бросает камни в каждую стену, балку, жердь или всякий иной неодушевленный предмет, встречающийся ему на пути.

– Нет ли чего новенького в ваших склепах, Дердлс? – спрашивает Джон Джаспер.

– Вы хотите сказать, чего-нибудь старенького? Так, это не место для новизны.

– Я хотел сказать, нет ли какой новой находки?

– Да, есть старик под седьмой колонной на левой стороне, если спуститься по сломанным ступенькам старинной подземной часовенки. Я полагаю (насколько могу пока еще судить), что это один из самых важных стариков с посохом. Судя по количеству и величине проходов в стенах, по ступеням и дверям, эти посохи, должно быть, служили большой помехой. Если встречались две такие важные особы, они, я полагаю, часто цеплялись друг друга за митры.

Не пытаясь оспаривать такое реалистическое предположение о быте епископов, Джаспер с ног до головы разглядывает своего собеседника, всего покрытого раствором, известью и пылью от щебенки и камней, словно он, Джаспер, все больше проникается интересом к его странному образу жизни.

– Любопытная у вас жизнь, – говорит он, не давая понять, одобряет он ее или наоборот.

– И у вас также, – резко отвечает Дердлс, ничем не выражая, считает ли он слова Джаспера комплиментом или оскорблением для себя.

– Ну, быть может, это и так, ибо судьба связала меня с этим старинным, холодным, мрачным местом. Но в вашей связи с собором гораздо больше таинственного и интересного, чем в моей. Знаете, я даже хочу вас просить взять меня в ученики, в бесплатные помощники, позволить мне иногда сопровождать вас, чтобы я тоже мог осмотреть те старинные уголки собора, в которых вы проводите целые дни.

Каменный Дердлс отвечает в общих выражениях:

– Хорошо. Все знают, где найти Дердлса, когда он нужен. – Это если не определенно, то справедливо в том смысле, что Дердлса на самом деле всегда можно где-нибудь найти бродящим по огромному собору.

– Что меня больше всего поражает, – продолжает Джаспер со все возрастающим интересом, – это та непостижимая точность, с которой вы определяете, где похоронены покойники. Как вам это удается? Что вам? Узелок мешает? Дайте, я понесу.

Дердлс действительно останавливается (в ту же минуту Депутат, следовавший за ним и следивший за всеми его движениями, бросается в сторону) и оглядывается по сторонам, отыскивая удобное место, чтобы положить свой узелок. Джаспер подходит к нему и берет в руки узелок.

– Дайте мне из него только мой молоток, – говорит Дердлс, – и я вам покажу.

Джаспер отдал молоток.

– Ну, смотрите, – продолжает Дердлс, получив молоток. – Вы ведь задаете тон, прежде чем ваш хор начинает петь, мистер Джаспер, не правда ли?

– Конечно.

– Я поступаю так же. Я слушаю, какой будет тон. Я беру свой молоток и стучу. – Он стучит по каменной мостовой, и внимательный Депутат отбегает на еще большее расстояние, боясь, чтобы для какого-либо опыта с молотком не потребовалась его голова. Стук! Стук! Стук! Крепкий камень! Я продолжаю стучать. Опять крепкий. Стук! Эге, здесь пусто! Твердое что-то в пустоте! Проверю. Стук! Стук! Стук! Твердое в пустоте, а в твердом внутри снова пусто! Вот мы и нашли. Сгнивший старый покойник лежит в каменном гробу в склепе под сводом.

– Потрясающе!

– Мне и не такое приходилось делать. Я даже проделывал вот что, – продолжает Дердлс, вынимая из кармана свой аршин (между тем Депутат подходит ближе, подозревая, что эти люди ищут клад, что может послужить и к его обогащению; в нем вдруг вспыхивает заманчивая надежда полюбоваться приятным зрелищем казни этих обоих людей, которых повесят по его доносу). – Предположим, что это мой молоток, а вот и стена моей работы. Два фута, четыре, шесть... – Дердлс измеряет мостовую. – В шести футах за этой стеной лежит миссис Сапси.

– Как? Не на самом же деле миссис Сапси?

– Предположим, что миссис Сапси, хотя ее стена гораздо толще, но все-таки предположим, что миссис Сапси. Вот Дердлс стучит молотком по этой стене и говорит: «Что-то тут есть». И действительно, в этом шестифутовом пространстве рабочие Дердлса забыли какой-то мусор.

Джаспер с удивлением заявляет, что такая точность должна быть «даром свыше».

– Я не согласен, что это дар свыше, – возражает Дердлс, ничуть не польщенный этим замечанием, – я сам выработал в себе такую точность. Дердлс дошел до таких знаний и этого искусства долгим трудом, из земли эти знания выкапывает, а если они не выходят, так он копает глубже и глубже, пока за корень не зацепит. Эй ты, Депутат!

– Закидаю!.. – отвечает Депутат, затягивая последнюю строчку своей песни и принимая оборонительное положение.

– Лови свои полпенни, и, когда мы дойдем до гостиницы, чтоб я тебя больше не видел.

«Всех камнями...» – продолжает свою песню Депутат, схватив монету на лету и как бы выражая этими таинственными словами свое согласие на предлагаемую сделку.

Им предстоит только пройти небольшой пустырь – бывший виноградник бывшего монастыря, чтобы очутиться в узком переулке, в котором стоит пошатнувшийся обшарпанный деревянный дом в два этажа, известный в городе под названием «Двухпенсовая гостиница для приезжих»; этот дом весь скривился и расшатался, как и нравственность его посетителей; от деревянного портика над дверью и забора, окружающего палисадник, почти ничего не осталось, ибо путешественники питают такое нежное чувство к этому приюту (или же любят в своих последующих путешествиях разводить костры по дороге в течение дня), что их невозможно никакими уговорами или угрозами выжить отсюда без того, чтобы каждый не унес на память деревянный сувенир.

Чтобы эта несчастная лачуга хотя бы внешне выглядела как гостиница, на окна были повешены красные занавески, вернее, обрывки занавесок, сквозь дыры в которых по вечерам виднеются в мерцающем свете сальные огарки с фитилями из хлопка или сердцевинки камыша да ночники домашнего изготовления, едва тлеющие в духоте двухпенсовых комнаток. Дердлса и Джаспера при их приближении к этому дому встречает надпись на бумажном фонаре над дверью, сообщающая о назначении гостиницы. Их встречают также около полдюжины неизвестно откуда выскочивших на лунный свет отвратительных уличных мальчишек (двухпенсовые ли это посетители или их слуги, никому неизвестно), которые, будто привлеченные тухлым запахом добычи, бросаются на Депутата, как стая голодных воронов, и мгновенно засыпают его и друг друга камнями.

– Стойте, чертенята, – сердито кричит Джаспер, – дайте нам пройти!

Это замечание встречается громкими воплями мальчишек и целым дождем камней, ибо, согласно обычаю, установившемуся в последнее время в английских городах, христиане постоянно и повсюду избиваются камнями, словно опять настали времена великомученика Стефана. При виде этого Дердлс к месту замечает, что юные дикари не имеют определенной цели в жизни, и вместе с Джаспером они продолжают идти по переулку.

Завернув за угол, разгневанный Джаспер останавливает своего спутника и оборачивается. Все тихо. Но через минуту большой камень с громким свистом ударяется об его шляпу и вдали раздается адский крик: «Закидаю всех камнями!» Понимая, под чьим метким огнем он находится, Джаспер быстро огибает угол, где оказывается в безопасности, и доводит Дердлса до его дома, которого последний достигает с большим трудом, ибо он так спотыкается обо все камни и куски щебня, устилающего его двор, будто сам устремляется в одну из своих еще не законченных гробниц.

Джон Джаспер возвращается другим путем в свое жилище над воротами и, тихо отперев дверь, входит в свою комнату, где огонь в камине еще не погас. Он вынимает из запертого ящика странного вида трубку и наполняет ее не табаком, а чем-то из банки, разминает это снадобье какой-то длинной вроде бы иглой, банку потом старательно прячет. Затем он вместе с трубкой отправляется в верхний этаж, где расположены спальни его и племянника. В обеих комнатах горит свет. Племянник спит спокойно, безмятежно. Джон Джаспер смотрит на него в продолжение нескольких минут с глубоким вниманием, держа в руках незажженную трубку. Потом он тихо, едва ступая, отправляется в свою спальню, закуривает трубку и отдает себя во власть тех призраков, которых она вызывает в мрачные часы ночи.

## Глава VI Филантроп

Достопочтенный Септимус Криспаркл (Септимус, потому что шесть маленьких братьев Криспарклов предшествовали ему и угасли один за другим, как шесть только что зажженных маленьких огоньков лампы), возвратясь со своего утреннего купанья в заводи возле городской плотины, во время которого он для здоровья пробил своей красивой головой тонкий ледок, теперь с большим искусством и энергией боксировал перед зеркалом для лучшего кровообращения. Зеркало это отражало свежего, с цветущим здоровьем достопочтенного Септимуса, делающего искусные выпады, увертывающегося от ударов и наносящего их с удивительной точностью; все это время лицо его сияло невинностью, доброй улыбкой, и даже из боксерских перчаток просвечивала его сердечная доброта.

Время утреннего завтрака едва наступило, ибо миссис Криспаркл, мать, а не жена достопочтенного Септимуса, только что сошла вниз и дожидалась чая, читая принесенное ей письмо. В эту самую минуту достопочтенный Септимус перестал боксировать и, сжав в своих боксерских перчатках приятное лицо вошедшей старой дамы, с любовью поцеловал его. Нежно исполнив эту обязанность, достопочтенный Септимус снова обратился к зеркалу и стал с прежним жаром нападать на невидимого противника, нанося ему сокрушительные удары правой рукой и отражая левой.

– Я каждый день повторяю, что ты наконец это сделаешь, Септ, – сказала старушка, глядя на него, – и ты увидишь, что это когда-нибудь случится.

– Что же именно, матушка?

– Ты разобьешь это зеркало, или у тебя лопнет какая-нибудь жила.

– Ни то ни другое, Бог даст, не случится, матушка! Не бойтесь, посмотрите-ка лучше! Разве я такой неуклюжий? Или с моим дыханием что-то не так?

В завершение своих атлетических упражнений достопочтенный Септимус с молниеносной быстротой нанес и отразил громадное количество всевозможных жесточайших ударов и затем искусным маневром «взял в плен» чепчик бедной старушки, но так легко и грациозно, что на нем даже не помялась ни одна из украшающих его сиреневых и вишневых ленточек. (Этот прием известен среди знатоков бокса, как захват головы противника.) Великодушно освободив свою «пленницу», он только успел снять перчатки, спрятать их в шкаф и выглянуть в окно, приняв как бы нейтральную позу, когда вошел слуга с подносом. Приготовив все, что было нужно для завтрака, он удалился, и мать с сыном снова остались одни. Любому приятно было бы видеть (если бы кто-то любой присутствовал при этом, чего никогда не было), как миссис Криспаркл прочитала вслух молитву Господню, а ее сын, хотя он и пастор и ему без пяти лет сорок, слушал, склонив голову, так же почтительно теперь, как слушал те же слова из тех же уст, когда ему не хватало пяти месяцев до четырех лет.

Что может быть милее старой дамы – конечно, разве только молодая дама, – когда глаза ее блестят, лицо сияет добротой и спокойствием, вся фигура ее изящна, а наряд, по аккуратности и гармонии цветов напоминающий наряд фарфоровых пастушек, так ладно сидит на ней? «Нет, ничего не может быть прелестнее», – часто думал добродушный младший каноник, усаживаясь против своей давно уже вдовствующей матери. А мысли матери в такой момент лучше всего передать двумя словами, наиболее часто звучащими во время разговора: «Мой Септ!»

Эта приятная парочка, сидевшая за завтраком в доме младшего каноника Клойстергама, как нельзя более подходила ко всему своему окружению. Дом младшего каноника располагался в уединенном мирном уголке в тени собора, в таком тихом местечке, которое каза-

лось тише и безмолвнее абсолютной тишины, особенно глубокой благодаря торжественным звукам соборного колокола или раскатам соборного органа, крикам грачей и отголоскам мерных шагов редких прохожих. Все это абсолютно не нарушало, а скорее подчеркивало всеобъемлющую тишину. На этом месте целыми веками дрались жестокие воины и безумствовали бессмысленные войны, целыми веками бесправные рабы несли бремя тяжкого труда и умирали; тут же могущественный монашеский орден целыми столетиями иногда приносил благо, иногда – зло; и вот все это исчезло, никого уже нет там, где стоит дом клойстергамского каноника, и так лучше. Быть может, самой большой пользой, принесенной ими, стала та благословенная атмосфера тишины и спокойствия, которую они оставили после себя и благодаря которой это жилище прониклось тем мирным, романтическим духом, возбуждающим в основном чувство милосердия и терпимости, которое навевается законченной грустной повестью или волнующей патетической драмой. Стены из красного кирпича, мягко выцветшие от времени, густой плющ, решетчатые окна, уютные комнаты с филенчатыми украшениями, большие дубовые брусья в потолках, каменная ограда садов, в которых до сих пор растут плодовые деревья, посаженные еще монахами, – вот что главным образом окружает милостивую миссис Криспаркл и ее сына, почтенного Септимуса, сидевших, как мы видели, за утренним завтраком.

– А что сказано в этом письме, милая матушка? – спросил младший каноник, выказывая за завтраком отменный аппетит. – Что же там все-таки?

Миленькая старушка уже успела прочесть письмо и положить его на стол. Теперь она молча передает его сыну.

Надо здесь заметить, что миссис Криспаркл чрезвычайно гордилась своими прекрасными глазами, позволявшими ей читать без очков, а ее сын, также гордившийся этим обстоятельством и желавший доставить ей возможность извлечь из этого как можно более удовольствия, стал притворяться, что сам он не может читать без очков. Поэтому и теперь он торжественно надел громадные очки, которые не только беспокоили его нос, но и немало мешали чтению письма, так как его глаза, без посторонней помощи, равнялись микроскопу и телескопу, соединенным вместе.

– Письмо, конечно, от мистера Гонетундра, – сказала миссис Криспаркл, складывая руки на животе.

– Конечно, – повторил ее сын и начал читать, запинаясь и останавливаясь почти на каждом слове:

«Убежище филантропии. Лондон. Среда.

Милостивая государыня!

Я пишу вам сидя в...» – что это, в чем это сидя он пишет?

– В кресле, – сказала старушка.

Почтенный Септимус снял очки, чтобы лучше видеть лицо своей матери, и воскликнул:

– Да в чем же ему иначе писать?

– Боже мой, Септ, – произнесла старая леди, – ты не видишь связи в словах! Дай мне назад письмо, и я тебе прочту, мой милый.

Почтенный Септимус очень обрадовался возможности отделаться от очков, из-за которых у него всегда слезились глаза, поспешно повиновался, промолвив вполголоса, что ему с каждым днем все труднее и труднее разбирать чужой почерк.

– «Я пишу, – продолжала читать старушка, очень бегло и явственно, – сидя в кресле, которое, вероятно, не отпустит меня еще в течение нескольких часов...»

Почтенный Септимус взглянул на окружающие его кресла полупротестующим и полуумоляющим взглядом.

– «У нас идет заседание, – читала старая дама несколько торжественным тоном, – Главного Соединенного Смешанного Комитета Центральных и Окружных Филантропов в Главном Убежище, как указано выше, и я, ко всеобщему удовольствию, занимаю председательское кресло».

– О, если так, то пускай себе сидит, – заметил Септимус, облегченно переводя дыхание.

– «Чтобы не пропустить сегодняшнюю почту, я пользуюсь тем, что теперь читают длинный доклад, обличающий общественного злодея...»

– Странное дело, – перебил чтение добродушный Септимус, откладывая на стол ножик и вилку и нетерпеливо почесывая за ухом, – что эти филантропы всегда кого-нибудь обличают. Еще более странно, что у них всегда готовы под рукой какие-нибудь злодеи.

– «Я пользуюсь тем, что читают длинный доклад, обличающий общественного злодея, – продолжала миссис Крипаркл, – чтобы покончить с вами наше маленькое дельце. Я говорил с моими воспитанниками Невиллом и Еленой Ландлес по поводу их недостаточного воспитания, и они вполне согласны с нашим планом; впрочем, я бы заставил их согласиться даже против их желаний».

– Но всего удивительнее, – заметил младший каноник тем же тоном, – что эти филантропы любят схватить своих ближних за шиворот и заталкивать их, так сказать, в шею на мирный путь добродетели... Но простите, милая матушка, я вас, кажется, перебил.

– «Поэтому, милостивая государыня, будьте так добры, предупредите вашего сына, достопочтенного мистера Септимуса, что Невилл прибудет к нему в следующий понедельник для того, чтобы под его руководством готовиться к экзамену. В тот же самый день с ним в Клойстергам приедет Елена для поступления в Монастырский дом, учебное заведение, рекомендованное вами и вашим сыном. Сделайте одолжение, приготовьте все, чтобы ее принять и поместить туда. Условия как в том, так и в другом случае остаются те, что вы назвали мне письменно, когда я впервые открыл переписку с вами о настоящем предмете, после того что имел честь быть вам представленным в доме вашей сестры в Лондоне. Свидетельствуя свое почтение вашему сыну, достопочтенному мистеру Септимусу, я, милостивая государыня, остаюсь ваш преданный брат (по филантропии). Лука Гонетундр».

– Ну, матушка, – произнес Септимус, почесав у себя за ухом, – надо попробовать. Не подлежит сомнению, что у нас довольно места для одного жильца, а у меня довольно времени и желания заняться с ним. Притом я должен признаться: очень рад, что этот ученик – не сам мистер Гонетундр, хотя это ужасно отдаёт предрассудком, не правда ли, так как я его никогда не видел. Что, он большого роста, сильный мужчина, матушка?

– Да, я бы назвала его сильным, – отвечала старушка с некоторым колебанием, – если б его голос не был еще сильнее.

– Сильнее, чем он сам?

– Сильнее всего и всех.

– А, – произнес Септимус и поспешил окончить завтрак, будто ветчина, яйца и жареный хлеб потеряли неожиданно всю свою прелесть.

Сестра миссис Крипаркл, бездетная жена лондонского пастора, имевшего приход в одном из богатых кварталов Лондона, представляла собой такой же прелестный образец дрезденской фарфоровой пастушки, что и ее сестра, так что обе они, как две парные статуэтки, могли бы составить замечательное украшение старинного камина, и никто никогда не решился бы их разъединить. Мистер Гонетундр, профессор филантропии, познакомился с миссис Крипаркл во время последнего соединения фарфоровых украшений (то есть во время последнего ежегодного посещения ею сестры); эта встреча произошла по случаю общественного филантропического события, причем известное количество юных сирот было закормлено до упаду яблочными пирожками и нежными речами. Вот и все сведения,

которые имелись в доме младшего каноника о новых воспитанниках, один из которых собирался в нем поселиться.

– Я уверен, что вы согласитесь со мной, матушка, – сказал Криспаркл после довольно продолжительного размышления, – что прежде всего нам необходимо создать для этих молодых людей такую обстановку, чтобы они чувствовали себя у нас легко и свободно, как дома. Я, конечно, говорю это из эгоизма, ибо, если им не будет легко с нами, то и нам будет трудно с ними. Вы знаете, сейчас у Джаспера гостит племянник, а так как молодое тянется к молодому (а он славный малый), то пригласим его обедать в день приезда брата и сестры. Значит, их будет трое. Но мы не можем пригласить его, не пригласив мистера Джаспера. Вот и получится четверо. Позвать бы еще мисс Твинклтон и сказочную невесту Эдвина, да нас двое – всех будет восемь. Обеспокоит ли вас, матушка, дружеский обед на восемь человек?

– Девять человек обеспокоили бы, Септ, – отвечала старушка с видимым беспокойством.

– Я говорю восемь, милая матушка.

– Ровно столько поместится в нашей комнате вокруг нашего стола.

Таким образом, вопрос был решен, и когда мистер Криспаркл вместе с матерью отправился к мисс Твинклтон, чтобы договориться обо всем необходимом для приема мисс Елены Ландлес в Монастырский дом, то приглашение на обед было сделано и принято. Мисс Твинклтон грустно взглянула было на глобусы, как бы сожалея, что с ними не с руки выезжать в свет, но тотчас же успокоилась и решила оставить их дома, ведь разлука была недолгой. После этого миссис Криспаркл немедленно написала филантропу и назвала час отъезда и приезда мистера Невила и мисс Елены, чтобы вовремя успеть к обеду, и в доме младшего каноника стало пахнуть вкусной дружеской трапезой.

В те дни в Клойстергаме не было железной дороги, и мистер Сапси говорил, что ее никогда не будет. Мало того, мистер Сапси утверждал даже, что ее вовсе не следует проводить. И однако, что удивительно, в наше время скорые поезда железной дороги не считают Клойстергам достаточно важным, чтобы останавливаться здесь, а стремительно летят далее, давая громкие гудки, бросая в него только пыль со своих колес в знак пренебрежения. Эти поезда обслуживают более важные города, а бедный Клойстергам случайно оказался неподалеку от главной линии, и его никто не принял во внимание, когда проводили дорогу. Многие считали, что такая затея, если бы провалилась, поколебала бы денежный курс; если бы удалась – Церковь и Государство, а Конституцию – и в том, и в другом случае. Станцию построили довольно далеко, где-то на пустыре, что немало напугало владельцев конного транспорта, и они с тех пор боялись пользоваться большой дорогой, добираясь в город по каким-то задворкам, окольными путями, мимо старой конюшни и надписи «Осторожно! Злая собака!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.